

Миленький ты мой

Автор:

Мария Метлицкая

Миленький ты мой

Мария Метлицкая

Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой
За чужими окнами

Сначала Лиду бросила мать – просто уехала и не вернулась, оставив дочь на воспитание бабушке в глухой деревне.

Так девочка и росла – с твердым убеждением, что никому не нужна. Потом ее бросали мужчины – так же, как в свое время мать: неожиданно, подло, несправедливо. Так, что всякий раз хотелось кричать: «Мой милый, что тебе я сделала?» А ничего не сделала. Просто была запрограммирована на одиночество, тоску, неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в «Снежной королеве», заколдовали, заморозили сердце. И Лида не сомневалась, что разморозить его нельзя. Да она и не хотела – жить с ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук совести, ни страданий. И любви тоже нет – чтобы потом не разочаровываться.

Одного Лида не учла – без любви жить невозможно. И она обязательно приходит – даже если ты отчаянно ей сопротивляешься.

Мария Метлицкая

Миленький ты мой

Миленький ты мой!

Возьми меня с собой!

Там в краю далеком
Буду тебе женой.
Милая моя. Взял бы я тебя.
Но там, в краю далеком,
Есть у меня жена.
Миленький ты мой!
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе сестрой.
Милая моя! Взял бы я тебя.
Но там, в краю далеком,
Есть у меня сестра.
Миленький ты мой!
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе чужой.
Милая моя! Взял бы я тебя!
Но там, в краю далеком,
Чужая ты мне не нужна!

© Метлицкая М., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Пролог

Это была высотка. Всем своим видом она унижала своих соседей, собратьев и окружающих – приземистых, неказистых и нелепых. Эта волшебная башня, замок, с островерхой крышей, сказочный терем времен пятидесятых, была населена людьми. Не народом – Людьми. Людьми с большой буквы. В ней, в этой башне, как всем известно, простых людей не было. Не живут простые в сталинских башнях. Простые, привыкшие к вони в темных подъездах и сварливым соседским голосам за стеной, ютятся в убогих хрущобах с фанерными стенами, в панельных клетухах с потолками в два сорок, да в частных домишках, продуваемых, хилых, с вечно текущими крышами. И все они счастливы до смерти – свое и отдельное. И пусть потолки на голове, пусть в туалет только боком, и пусть все обедают по очереди на пятиметровой кухоньке, потому что всем не усесться. Правда, у меня и этого «счастья» нет, но ничего! Еще будет! Еще наверстаю – я же способная!

В подъезде, конечно, консьерж. Или швейцар?..

Нет, все же консьерж. Швейцар с бородой, с галунами и в важной фуражке – почти адмирал. А здесь – бабка. Обычная бабка, которой доверена власть.

Такие, как она, обычно отрываются по полной – букашки, от которых что-то зависит!

Все, что угодно и где угодно! Не беспокойтесь – уж они-то, эти «тетки в тапках», своего не упустят! И еще – не пропустят. Не своего.

– Вы, простите, к кому? – вежливо осведомляется, а в глазах – чистая сталь. Злость одна. Даже ненависть. Хреново, наверное, сидеть тут по суткам. Задница затекает. На столе – стакан с чаем, откусанный бутерброд с колбасой и дешевые карамельки. Обед.

А я вот помешала...

Отвечаю. Глазки туплю, как положено. Ну, раз за «свою» не признала – буду паинькой, скромницей.

Не сошла за свою. Что, впрочем, понятно – глаз у этих служителей порядка – алмаз! На том и стоим.

– К Краснопевцевой? – с недоверием уточняет и впивается в меня еще пристальней. – К Лидии Николаевне? – повторяет она и хмыкает носом, слегка усмехается – типа, не верит. И еще недовольно качнула головой – типа, знаем мы вас!

И правильно, да! Соображает.

– А вы ей, простите... кем будете?

– Я? – переспрашиваю с дурацкой «первомайской» улыбкой. – Я ей родня! Дочка ее. Ну... сестры!

– Ммм... сестры?

Консьержка обескуражена и растеряна окончательно. Не знает, как быть.

– Ну а вы, – советую я, – позвоните ей, Лидии Николаевне! Она подтвердит!

– Ладно, – машет рукой консьержка, – проходите, чего уж! – И громко глотает чай.

Вот и прокололась – неправильно это. Неграмотно. И ведь сидит днями у телика. Что смотрит? Понятно – криминальные новости. Все эти бабки обожают такую фигню. Чтобы и страшненько, и интересненько. И поохать, и побряхтеть, и поделиться потом с подружкой. Повздыхать и поежиться – ох, времена!.. Довели страну, изверги!

А там ведь предупреждают таких вот ослиц – не доверять. Не пропускать. Вызвать охрану. Двери не открывать! Теток-аферисток сейчас даже больше, чем мужиков.

Но я уже в лифте. А лифт этот – ох! Впечатляет. Всем лифтам лифт! И пусть красная ковровая дорожка поистрепалась. Зато зеркало-то висит. И темные панели на стенах – гладкие, отполированные, из благородного дерева.

Скамеечка у стены: устали – извольте, присядьте! Едет, правда, тряско. Гудит. Все понятно – старик. Глубокий старик...

Шестой этаж. Выхожу. Квартира напротив лифта. Деревянная дверь. Пооббитая и потрепанная – все, как положено. Рухлядь, конечно. Но все равно впечатляет. Былая роскошь. Тоже из прошлой жизни. Не заменили. Не захотели или?.. Банально не было уже денег?

Я замираю и смотрю на звонок. Над ним – латунная табличка. Имя, отчество, фамилия покойного супруга. Перечисленные регалии: академик, член-корреспондент, профессор, Народный художник, Герой Соцтруда... Смех, да и только! Кому это сейчас интересно? И ведь не поленился все перечислить!.. Любил, поди, свои звонкие звания. Умилялся.

Звонок тоже «оттуда» – медный или латунный. Облезлый.

Я выдыхаю и... Нажимаю. Колокольный перезвон – нежный и мелодичный. Совсем не тревожный. Современные звонят так, что вздрагиваешь и падает сердце.

– Кто? – минут через пять раздается осторожный и тихий голос за дверью.

Молодец! Не рвет дверь на себя – сначала интересуется.

– Лидия Николаевна, – по-овечьи блею я, – это я, Лида! Лида Канавина! Дочь вашей Полины! Из Локшинки! Я вам писала...

Тишина. Думает? Вспоминает? А вот если не откроет? И что тогда, милая Лида, поедешь обратно? В свой Н.? В свой, богом забытый уездный городишко? Вернешься домой, в село Локшинку? И все твои прожекты, милая Лида...

Ах, как все просто! Тебе не откроют, и все. Просто тебе НЕ ОТКРОЮТ.

Но – без паники! Щелкает замок, гремит дверная цепочка.

И вот дверь открыта. Только вопрос – куда?

Да в новую жизнь! Лида, вперед! И не робей! У тебя все получится!

Она стоит на пороге и смотрит – недоверчиво и подозрительно. Что ж, время такое. Ее можно понять. Если бы не фотографии Полины Сергеевны да не памятные часики с позолотой, сунутые ей прямо под нос – стоять бы мне за облезлой дверью. А потом – поторапливаться на вокзал.

Но я девочка умная. Сметливая и хитроватая. Все подготовила, все. И сама подготовилась – будьте любезны! Спасибо за школу жизни – всему научила. И дорогой Полине Сергеевне отдельное спасибо! Объяснила в далеком детстве, милая матушка, что я никому не нужна.

Я не нужна... Ну и вы мне до фени! Все, без разбора. Так и проживу свою жизнь без сердечных привязанностей. Потому что знаю, чем эти страсти кончаются. А мне так больше не надо! Совсем. Раз вы со мной так ну и я соответственно. Без угрызений совести, да. Абсолютно, заметьте, без угрызений!

Туплю глазки и смотрю в пол. Потом поднимаю – светлые, чистые, голубые. Без тени, так сказать...

Милая, скромная провинциалка. Хорошее, доброе, вполне симпатичное лицо. Косметики ноль. Руки рабочие, познавшие «жисть» – и огород, и хозяйство. Но аккуратные. Ногти подстрижены и обработаны. Волосы в косу. Не переборщила? Вроде нет, так сейчас модно. Скромная китайская кофточка, скромная юбка. Пальто.

- Нууу... – неуверенно тянет она, – проходите.

С большим, как говорится, сомнением в правильности своего решения.

Но первый шаг уже сделан, и я прохожу. Я вошла. В святая святых... Меня допустили! Пока «один – ноль», Лида. Ты молодец!

В прихожей (огромной, как танцпол в клубе) я раздеваюсь. Вешаю пальто, ровненько прилаживаю, как у нас говорят, у порога сапожки. По стенам глазами не шарю – воспитанная. Большие глаза не делаю. И не потому, что все это

видела, – откуда мне? А потому что скромна. Мама так воспитала.

Лидия Николаевна тяжело вздыхает и делает царственный жест. Рука у нее очень худая, ладонь узкая, в крапках пигментных пятен, но с маникюром. А как же – звезда!

Кухня тоже впечатляет своими размерами. Метров шестнадцать, не меньше. А то и все восемнадцать! Почти как мой дом. Но грязь – несусветная! Солнце беспощадно обнажило всю подноготную – и хозяйки, и кухни.

Ладно кухня – пыль, жир и сажа на потолке и стене. Но она! Это в темноте коридора еще как-то... А здесь, на свету...

Мумия, не иначе. Сморщенное лицо, дряблая, обвислая шея. Страшные руки. Ужасно, брррр!

Ведьма. Как в детской сказке – злая колдунья.

Садится, закидывает ногу на ногу, полы шелкового (в пятнах и драных кружевах) халата распахиваются и обнажаются старые ноги – мертвого серого цвета, в крупных, перетянутых узлах синих вен, с выпирающими косточками – вальгусная стопа. Но с педикюром! Да, мастерство не пропьешь!..

Стою, глазки по-прежнему в пол.

– Садитесь, – наконец предлагает она. Ну я и сажусь.

Молчим. Начинает она.

Спрашивает про Полю – так она ее называла.

У меня по щеке катятся слезы. Вспоминая дорогую Полину Сергеевну, я всегда плачу. От жалости к себе. Ничего не забыто!

Детская травма, знаете ли... это ведь навсегда.

Про «Полю» говорю скупно – вроде мне и сейчас тяжело.

Хотя... Мне и вправду совсем нелегко... Вспоминать...

Но выстрел попал в цель – ей, кажется, меня жалко. Чуть кривятся узкие губы и дрогнули тонкие, нависшие, «черепашьи» веки.

– Да... Полю жалко!.. Поля была... замечательной! Как же вам повезло!..

Я чуть не вскрикиваю. Но, разумеется, сдерживаю крик души и боли, обиды, невыносимо горького детского одиночества. Думаю, старческое одиночество ничуть не страшнее детского! Наверное, второе даже еще хуже и злей. И страшнее.

Я моргаю, стряхивая набежавшую слезу, и часто киваю:

– Да-да! Мама... была замечательной!

Как же мне трудно произнести это слово! Потом она хмурится:

– Ну... А что... вы... сюда? В смысле – в столицу?

Я простодушна и очень честна:

– Развелась, деток нет, бог не дал... Работы в нашей дырище тоже. Хозяйство одной мне не нужно, ну, вот я и...

Она недовольно крутит головой:

– А вы думаете, что здесь – синекура?

Я вжимаю испуганно голову и развожу руками:

– Нет... Я не знаю...

– А вот я знаю! – жестко бросает она и – хлоп по столу ручонкой. – Медом здесь не намазано! – резко отвечает она. – Ни-ко-му! А вы... все сюда... претесь!.. Ну? И как думаешь жить?

Так, перешла на «ты» – уже хорошо. Может, меня пожалела? В память дорогой и незабвенной Полины?

Я бормочу, что я – учительница младших классов. Надеюсь, что учителя здесь нужны. Очень надеюсь! Ну или в детсад, методистом. В саду с голоду не помрешь. Там – питание! Сниму комнату... Ну или угол. Читала, что много бабулек сдают эти углы. И недорого вовсе.

Лидия Николаевна усмехается:

– Угол! Ну-ну... Будешь жить с полоумной бабкой и слушать ее «мемуары».

– Что делать... Ну, значит, буду. Я стариков... в смысле – пожилых людей – уважаю! И очень жалею...

– Не за что их уважать! И жалеть не за что! – отрезает она. – Гнусные сплетники, зануды и жалобщики! Вечно ноют, что мало денег, плохие дети и нету здоровья!

Резкая. Справедливая. Откровенная.

Их... А себя, любимую, она к старикам не относит! Не хочет к НИМ примыкать.

– Ладно, – смилостивилась наконец Лидия Николаевна. – Чай или кофе?

Я пожимаю плечами – дескать, не хочу вас утруждать.

– Ну, тогда сама! – усмехается она и поудобнее устраивает на стул свою тощую задницу.

Да ведь это прорыв! Почти маленькая победа. То, что и требовалось, собственно!

Я вскакиваю со стула и бегу в коридор.

- Что случилось? – пугается она.

- Счас, счас! – отвечаю я и втаскиваю на кухню свою огромную, пластиковую, клетчатую (с чем еще ездят в столицу бедные провинциалы?) сумку.

Так, вынимаю «яички» – слово Полины Сергеевны, – литровую банку сметаны, творожок и масло в пакетах. Еще банка меда и малинового варенья.

Она вздрагивает и пугается:

- Это что?

- Продукты питания, – отвечаю, – гостинцы из Н. Все деревенское, экологически чистое! Свои «яички», сметанка и творожок! Масло вчера вот сбивали!

Смотрит с недоверием и с интересом, усмехается:

- Экологически чистое, говоришь? Ну-ну... Посмотрим.

А я уже жарю «яички» и выкладываю на тарелочку творожок. Поливаю сметанкой. Льется плохо – густая – ложка стоит! Поверх сметанки – медку. Горочкой. Он медленно оплывает прозрачной, янтарной лужицей – красота!

Мумия смотрит с удивлением, будто не видела никогда ни творожка, ни медку, ни сметаны. Пробует осторожно, чуть морщится, сводит брови и... качает головой:

- Боже, как вкусно! Божественно просто!..

Еще бы! Еще бы не вкусно! Творожок, сметану и масло взяла вчера утром на рынке. У нас. Все деревенское, чистая правда. Мед у меня был – сосед держит пасеку, а я мед ненавижу. И «яички» подбросил сосед, по пятьдесят рубчиков за десяток – очень по-божески.

Наворачивает, снова мотает башкой и приговаривает:

– Ах, боже мой! Сто лет не было такого вот удовольствия! Знаете, – путается: то «ты», то «вы», – ой, знаете, Лида, я поутру только кофе и все! Даже без хлеба! За хлебом идти неохота. Ну, раз в неделю принесет социальный работник и все. Буханку. Говорит, все хранят в морозилке. Но это ведь бред! Есть размороженный хлеб? Ни вкуса, ни запаха. Гадость! Лучше я так, с сухарем.

Я киваю и удивляюсь:

– Вот ведь чего придумали! Мороженный хлеб! Дикость какая!

– Я вообще, – увлеченно продолжает, – ем крайне мало! Просто почти не ем!

Говорит это с гордостью. Типа – неприхотливая.

– Почему? – ахаю я. – Так ведь нельзя! Вредно ведь очень! Гастриты, колиты...

– Ми-ло-чка! – произносит она по складам и смотрит на меня с укоризной. – У меня столько болячек, что ваши гастриты мне уже не страшны!

Я громко вздыхаю – сочувствую.

– В молодости относишься ко всему безответственно! – объявляет она. – Но вам этого не понять! Вы пока... молодая, – говорит она с каким-то сомнением, разглядывая меня.

– Ну какая же я молодая! – снова вздыхаю. – Уже тридцать пять. Ни детей, ни плетей – один развод за плечами и порушенные мечты. Одиночество: ни мамы, ни... – тут всхлип, – ни-ко-го...

Она задумывается:

– Маму... я тоже потеряла очень рано... Такая трагедия... А вот дети! – Она оживляется: – Вот об их отсутствии не пожалела ни разу! Верить ли, ни разу!

Снова на «ты». Хорошо.

– Совсем никогда? – жалобно лепечу я.

– Ни разу! – подтверждает она. – За всю свою долгую жизнь!

Победный взор и – дрожащие руки. Врет? Храбрится? Или и вправду?

– Что с них? – продолжает. – Одно... дерьмо, ты уж прости!..

Я, конечно, прощаю.

– Нет, ты ответь! – заводится мумия. – Ну где ты видела хороших детей? Заботливых, благодарных. Уважающих старость... Лично мне – нет, не пришлось. Вот подружки, – кривит рот в адрес подружек. – Итак, подружки! Ну... не подружки – скорее приятельницы. Подруга у меня всего лишь одна – мне хватает! И все – знаменитости, все! Актриса, балерина, певица. Когда-то очень известная! Примадонна! Фамилий не называю – тебе ни к чему.

Я снова киваю:

– Конечно!

– У всех эти... дети. И что? У актрисы сын пьет. Тянет деньги. И ждет ее смерти – не стесняется: «Когда ты, старая, сдохнешь? Квартиру продам и пропью!» Ну? Как тебе это?

Я качаю головой и вздыхаю:

– Кошмар!..

И правда – кошмар. Что говорить-то?

Она удовлетворенно кивает:

– Вот видишь! Так, дальше. У балерины – две дочери. Старшая – шлюха. Да, именно так! Причем дармовая шлюха! Из любви к искусству, так сказать, не за деньги. Таскает юнцов, не стеснясь, прямо при матери. Та, бедная, все это

видит. А главное – слышит! Ты понимаешь, о чем я?

Конечно, я понимаю! Не девочка ведь...

– А младшая... Ну, там совсем беда! Попала в аварию... Нogu отняли... И все – инвалид. Муж бросил, взяли сиделку. А платит она, балерина! Чем? Хороший вопрос... для российской пенсионерки. А продает! Все, что осталось, – посуду, часы, ковры, статуэтки. Говна этого у нее, как ты понимаешь, навалом. Было навалом... А сейчас – одни слезы. Вот кончится и... Что тогда делать? А ничего! Застрелиться! И застрелить свою младшую дочь. А лучше – сразу обеих! А какие были в молодости! Королевы! Все шеи сворачивали, мужики с ума сходили! Деньги, шубы, бриллианты, прислуга!.. И что теперь? Ни-че-го! Нищета и болячки!

– Ну а певица? – полупшепотом спрашиваю я. – Что у нее?

Знаю, все старики обожают рассказы! Про молодость, красоту и прежнюю жизнь. Их надо слушать! И ты победила.

– А что певица? – недоумевает мумия.

Забыла уже. Короткая «свежая» память. Все они так – про прошлое помнят и могут триндеть всю дорогу. А тут – все, провал.

Напоминаю.

– А-а-а! – машет рукой. – У этой сын дурачок! Смолоду был дурачок! Ей намекали, а она... Ну, ты ж понимаешь! Да и было ей не до него – гастроли, романы. Четыре законных мужа, ты поняла? Только законных! А уж про все остальное...

Завидует, что ли? Ну, да, наверное. У самой-то был муж числом «раз». И больше замуж не вышла. Зато какой это был муж! А раньше? Может, не брали? Замуж-то вышла не рано.

– Так вот, сын – дурачок! В детстве все марочки, значочки и гербарии собирал. Девки его не интересовали – вообще! Она даже струхнула: вдруг что не так? Ну

и подсунула ему тогда... старлетку, свою ученицу. Обещала поддержку, протекцию. И девка – понятное дело – на все согласилась! Ну и на то, чтобы с коллекционером сопливым прилечь. Прилегла. И чем кончилось, а? Ну, подумай! Не ребус!

– Соблазнила и родила? – ахнула я. – А следом – в ЗАГС?

– Сообразительная! – кивает мумия и смотрит на меня как-то странно. То ли нравится ей эта сообразительность, то ли пугает...

Внимательно разглядывает меня, с интересом. Вздыхает:

– Да! Именно так! И залетела, и родила! И в ЗАГС затащила! А свекровь, которая ее, звезду, шлюхой назначила, так и не простила. Народную артистку, звезду! Все! Всю жизнь гнобила ее как могла. А могла хорошо! А потом певица моя сломала ногу. Уже три года лежит, не встает. Сынок как и был отмороженный, так и остался. А уж под влиянием старлетки! Никто за народной не ходит! Никто, чтобы так, по-нормальному, по-человечески. Так, бросят на стол колбасы – жри, дорогая! Дворничиху позовут – вынести судно. И еще она советует свекрови нанять для ухода какую-нибудь б... Ну, как ее тогда – в смысле, для сына. У вас же это отлично отлажено! А чем платить? Пенсию всю у нее забирают. И как тебе?

Я удрученно молчу. Снова вздыхаю:

– Да... ужас, конечно!

– Вот! – радуется она. – И я о том же! И на черта эти дети нужны? Я вот, по крайней мере, знаю, что у меня никто ничего не отнимет и на квартиру мою не претендует. А помру, – она обводит глазами закопченные стены с выцветшими обоями, – мне наплевать, кому это достанется! И еще, я с ними уже не общаюсь! Надоело. Надоело слушать эти кошмары. Общаюсь только с Евкой. Та тоже, конечно... Но я жалею ее. Тоже одна. Никого...

Мумия смотрит на меня в упор – просто сверлит глазами.

Наплевать, говоришь? Ну что ж, отлично! Никто не отнимет и не претендует? Ха-ха! Вот здесь ты ошиблась! Заблуждаешься, моя прелесть! Претендентов, говоришь, нет? Да как бы не так! Есть, дорогая! Не сомневайся! Есть претенденты!

И все это, уж извини, будет мое! Потому что... Потому что я заслужила.

Всей своей жизнью несчастной, порушенной во имя Тебя! Ты поняла?

Приходит время камушки собирать, моя прелесть! Или ты думала, что это не про тебя?

Яичницу поковыряла и вилку шмякнула – все, не хочу больше. Наелась!

Ну, наелась, и слава богу! Тарелочки собрала и быстренько вымыла – я же ловкая, вся в матушку, Полину Сергеевну! Вы же ее за ловкость ценили, не так ли?

Вижу – носом клюет. После сытного завтрака.

– Ну, я пошла? – с места медленно поднялась, кофточку скромную одернула и глазками – хлоп.

Смотрит. Молчит. Тоже вздыхает.

– Ну... И что дальше? Комнату надо искать первым делом! А после – работу, – наставляет мумия.

Я грустно киваю – все так.

Плетусь в коридор, надеваю сапоги – все медленно, как в замедленной съемке.

Морщит лоб:

– Ладно!

Решилась!

- Пока не снимешь угол - живи у меня. В смысле, ночуй. Думаю, дня три тебе хватит?

Киваю, как китайский болванчик:

- Да, разумеется! А может, и два! Я постараюсь быстрее! Чтобы вас не затруднять и не тревожить! Вот, прямо сейчас побегу - я объявления сорвала на вокзале... - шарю в кармане пальто.

Кивает:

- Угу! Ну и беги! Вещи, - кивает на мой баул, - можешь оставить!

Всплескиваю руками:

- Батюшки! Боже ж мой! И как я забыла?! В сумке-то - курочка! Своя, деревенская! Вам привезла, на бульон! Мама рассказывала, что вы очень любите! Ну, свежий бульон!..

Удивляется:

- Надо же! Какая забота! Ну, положи своего цыплага в холодильник! Или нет, давай я.

Берет пакет с куренком и кивает:

- Удачи! И, слышишь, не поздно приходи! И звони посильней - могу не услышать.

Я на улице. Светит солнце, блестит свежий снежок. Оглядываюсь и вижу дорогу к метро - тропка протоптана. Ну и побежала. Почти. Пусть смотрит в окно и видит - спешу! Комнату снять побыстрее - чтобы ее не беспокоить, не напрягать. Я ж совестливая! И очень воспитанная. Даром что из деревни.

Или не смотрит? Да черт с ней! Первый раунд мы выиграли! А что будет дальше – посмотрим!

Кто победит: ты или я? Справедливость или?..

Нет, справедливость! Не очень-то верю, конечно...

А как дальше жить, если не веришь? Вообще! Никому! Страшновато...

Даже мне, такой смелой. Такой закаленной.

Вернулась я к вечеру. Вид усталый – донельзя. Как же, я ведь квартиру искала! Не повезло – не нашла. Все не то, все не то... То дорого, то место ужасное, то хозяйка-алкашка... В общем, бедная я, бедная. Бедная провинциальная сирота...

От метро до ее дома – рукой подать, минут пять. Но я на морозе проторчала двадцать минут – нос красный, губы синие, руки цвета свеклы. Замерзла, деточка бедная. Голодная и холодная. Ненужная никому в этом мире сиротка...

А время, кстати, я провела хорошо! И даже отлично. Погуляла по центру, зашла в Исторический музей, потом в ГУМ – поглазела на витрины. Цены, конечно, кошмар! Что делать – столица! Спустилась в Охотный Ряд – подземный город. Отогрелась, съела пирожное и выпила кофе – отлично! Ну, и к мадам. С большими, надо сказать, надеждами. На наше с ней светлое будущее.

Да! В переходе купила цветы – скромные, правда: три желтые гвоздички. На большее денежек нет.

Мумия открыла дверь и хлопает глазами:

– Цветы?.. Мне?..

Обалдела.

– Ах, давно никто не дарил! Ах, ох... – разнюнилась бабка. – Я так тронута, я так...

Ну и так далее.

– А как же?! – вступаю я и шумно дышу в ладони – грею. – Кому как не вам, дорогая Лидия Николаевна! Кому, как не вам? Разумеется, вам! Нашей звезде! И легенде! Ведь, можно сказать, что вся наша культура...

И давай комплименты сыпать. Она носом хлюпает:

– Ах, как приятно!..

Погоди, думаю, дальше будет еще приятней! Ты уж поверь!

Чаю, конечно, предложила.

– Может быть, перекусишь?

– Нет, спасибо! Я у метро съела два пирожка! Чтобы вам хлопот не доставлять.

Расспрашивает аккуратно, не желает вникать – так, для проформы, из чистой, так сказать, вежливости. Ну, чтобы не сочувствовать и не «влезать» в мои проблемы.

– Не получилось? Как жаль!.. Ну... что ж, – вздыхает, – переночуешь еще одну ночь. Может быть, завтра получится?

– Ой, как я надеюсь! – вскрикиваю почти. – Мне ж так неловко – просто ужас какой! Так пользоваться вашей добротой... Как же возможно? Нет, честное слово! Нет-нет! Я пойду на вокзал! Там очень прилично! И даже душ есть!..

Машет лапкой своей:

– Брось! Какие вокзалы? Ерунда! Переночуешь сегодня.

На последнем слове делает ударение.

Замолкает и дальше со вздохом:

- В память, о Поле...

После чая удаляется к себе в спальню. Интересно, как там у нее? Какая мебель, какие светильники? Мне кажется, что там должна стоять огромная кровать с высоким изголовьем - типа Марии Стюарт. Королевская, с балдахином, в пышных подушках и шелковых простынях. Королеве - королевское ложе! А она ведь была Королевой. Правда, ей кажется, что она Королевой и осталась...

Слышу, включила телевизор - смотрит какую-то муть. Крики, споры. Ток-шоу? Наверное. Приклеилась и внимает. Все развлечение.

Ну ладно! А мы - за дела! Сейчас-то мы себя и проявим!

Начала с кухни - посуда, поверхности, мойка, краны, плита. Боже! Какая же грязь! На шкафчиках слои жира в два пальца. Кастрюли, посуда - кошмар! Про плиту не говорю - кладбище старых обедов. Все присохло, пришкварилось, намертво приросло. Губок нет, моющих-чистящих средств тоже... Чем оттирать?

Слава богу, нашла полпачки засохшей, спекшейся соды и какой-то древний «Пемолюкс», превратившийся в камень. Справилась. Дальше - люстра, кафель и вытяжка. Окно не помоешь - мороз. Но занавески сняла и постирала. Повесила мокрыми - так отвисятся.

Подошла к двери спальни - телевизор орет. Уже два часа, без перерыва. Дверь приоткрыла - дрыхнет подруга. Под телевизор. И хоть бы хны - храпит как шахтер. Зайти и выключить ящик? Нет, самовольство. Боюсь, не оценит.

Ну да ладно! Я быстро оделась и выскочила за дверь. Магазин! Слава богу, он в доме.

Бегом по отделам - колбаски, сырку, мясца килограмм - на котлеты. Картошка, свекла и морковь - на борщ. Пусть бабка порадует! Будет вам и белка, будет и свисток! Все тебе будет, родная! Конечно, родная! А как иначе? Жизни наши с

тобой параллельны! Меня ведь даже называли твоим именем! В твою честь! И все мама родная, Полина Сергеевна! А посему, ты мне родня.

Ну что еще? Я шарю глазами по прилавкам. Торт? Или конфеты? Наверняка мадам «кушает» лучшие – трюфеля, грильяжи и прочее. А они денег стоят! Нет, перебьется. Я же бедна! Сирота. Это – имидж! А имидж, как нам известно... Тортики – мама родная! Что попримичней – за тыщу! Как и конфеты. Нет, так не пойдет! Мы возьмем яблочек, маргаринчику, повидла вишневого и с килограммчик мучки – вот вам и тортик!

Ну вроде все. И – по коням! Ох, как бы милочка наша еще поспала...

Спит. Ну я и взялась – тесто, борщец... Стала искать мясорубку – а нет! Не держит тетенька мясорубку. И что делать? Ладно, попробуем сделать бифштекс – в смысле, рубленый. Мясо мелко ножом, лук тоже крошим, перец и соль – хорошо! Главное, чтоб прожевала своими вставными.

Ну и пюре – для блезиру. Уф! Ловкая я! А иначе бы – крышка! Тру, жарю, тушу и прислушиваюсь – не дай бог, проснется! Вот тогда огребу! Поднимется вой: да кто вас просил!.. Да по какому праву!.. Да на моей кухне! Не оберешься... Вот тогда и поперет, на ночь глядя, на зябкую улицу.

Сколько раз меня выручало, что я спорая и шустрая. Приволокусь с работы – только бы сесть! Ноги горят – попробуй, постой шесть часов у доски.

А муженек вот-вот нарисуеться. И голодный! Вот я и давай крутиться. Ужин собирала за полчаса. Только что б доволен был, что б только угодить ему! Ох, лучше не вспоминать! Потому что как вспомнишь... так и жить неохота. Совсем.

Ладно, проехали. Только присела – шарк, шарк. Ползет, моя «прелесть». Я вся подобралась, спинку прямо, в глазках испуг.

Заходит. Морда опухшая – еще бы – спать три часа! Носом ведет:

– Что это? – к кастрюлям – крышку приподняла, нахмурилась. Повернулась и снова: – Что это значит? – Голос – металл!

Я лепечу:

- Борщ, Лидия Николаевна... В смысле, первое. Котлетки... В смысле, бифштексы... Пюрешечка... В смысле, картошка... (Ха-ха! Ну, это я уже про себя, разумеется!)

- И пирожок, в смысле, тортик! Яблочный пай с вишневым вареньем.

Молчит, жалом водит. Принюхивается. Старая стерва! Другая бы - в ноги! Ах, как хорошо! Прелесть какая! А эта... Змея!

Присаживается. Я, типа, ни жива ни мертва. Хотя... К этому близко! А ну как поперет? И будешь ты, дорогая Лида, в полном дерьме и без всяких надежд на, так сказать, достойное, светлое будущее.

Головку я опустила, глазки потупила. Тихо вздыхаю.

- А вы... - тут она запнулась, - а ты - молодец! Как кухню отмыла!

Поднимаю глаза, вижу - восторг. Во взгляде. Оценила, старая курва! Заметила! Уже хорошо!

Опять замолчала. Видно, не знает, как реагировать. Вроде бы и ничего плохого, наоборот, все хорошо. Но на душе беспокойно. Вдруг где подвох?

А не дура! Конечно, не дура! Вот сейчас испугается и... Вали-ка ты, милая тетка! На Курский вокзал! В свой Запендрищенск! И не надо нам от тебя ни хорошего, ни плохого! Ты нам - чужой человек! Да, дочь незабвенной Полины. Но кто тебя знает? Что в твоей голове? Что в душе? И чего ты приперлась?

Все правильно! Да, так и будет... Надежды особенной нет, что поверит и примет. Старые люди ох как недоверчивы! Телевизор смотрят! А там... Про аферистов квартирных - кучи сюжетов! Приперлась какая-то деревенская дура - странная и чужая... И что? Жарит котлеты... Да на черта она мне сдалась? Жила без нее и еще проживу! И без ее котлет этих и супов!..

Смотрит внимательно. Пристально очень. Вот сейчас и спросит: «А что ты, детка, стараешься так? Откуда такая прыть? Чего тебе надо, родная? Вали-ка ты! Вместе с бифштексом и тортиком!»

Вздыхает:

- Ну... ладно! А я - заспалась совсем... Ночью, знаешь ли... Ох... совсем нет сна! Воспоминания все, воспоминания... Замучили просто!

Я тупо киваю.

- Ну... Может, борщеца?..

Господи боже! Спасибо! Спасибо тебе большое! Уф, пронесло! Кажется, да! А ведь, признаться... Страшно мне было! Уже хотела в прихожку, за сумкой отправляться.

Вскакиваю. Мечусь по кухне - тарелка, сметана... Черный хлебец? Вот, свежий!

Села мумия, ложку глотнула и... замерла!

- Вкусно? - спрашиваю, робея.

Кивает:

- Да, вкусно!..

Да знаю, что вкусно! Готовить-то умею, не без талантов! Вся в дорогую маму, в Полину Сергеевну! Тебе же нравилась ее стряпня, да? Ты, кажется, только ее и признавала?

Ест и причмокивает. Но больше не хвалит. Зараза! От таких, как она, дождешься, как же!.. Полина Сергеевна жалилась, что Королева почти никогда не хвалит, доброго слова не скажет. И правильно! Дура вы, Полина Сергеевна! Челядь и баловать? Нет, не годится! Иначе холопы расслабятся. Их, слуг подобострастных, крепко надо держать! В узде и в ежовых!.. Вам же так нравилось, да? Служить и прислуживать нашей Звезде. Вы ж прямо балдели от

близости к ее телу! Ну чем же вы не холоп?

Тарелка пуста.

- Может, добавки? Нет? А котлетку? В смысле, бифштекс?..

Снизошла! Алилла! Жует. Улыбнулась – совсем чуть-чуть, краешком рта – и как все вокруг засверкало! А то я уж и забыла, какой цвет у гарнира!

Кивает:

- Спасибо! Вы молодец!..

С очень большим достоинством, надо сказать. Так, надо учиться! Всю жизнь. Чтобы как будто она – одолжение делает. Ну, что мне было дозволено.

Дааа, королева! И не поспоришь – звезда! А ты – мелкая сошка, букашка, козявка. Дочка бывшей прислуги – вот так!

Допустили – и радуйся! Что просто рядом. Что снизошли! Что позволили! Такая судьба у козявок!

- Ну... какие дальнейшие планы? – осведомилась мумия.

А поесть вместе с ней не предложила! Ну как? И очень даже правильно – слуги едят отдельно!

Жму плечиком:

- Завтра пойду по новой. Угол, комнатка – все, что угодно! Лишь бы вас, дорогая Лидия Николаевна, от своего присутствия освободить. Все ж понимаю – нагрузка! Присутствием своим, так сказать, не нервировать. Обременительно ведь: чужой человек, посторонний... – вздыхаю я.

Молчит. Тихо, задумчиво. Вкусный бифштекс был...

– А вы кулинарка! От мамы, наверное? Она научила?

– Она?! – с удивлением восклицаю я. И тут же беру себя в руки. – Конечно, она!

Она не учила меня! Ничему! Она вообще... со мной не жила! И ни одной книжки, ни одного стишка! Ни одного куличика из песка! Ни одного кукольного платья! А шить ведь умела... И как! Вам платья шила – помните, а? И все восхищались. А я – я донашивала за троюродной сестрой Милкой. А Милка была – та еще неряха! А я так мечтала о нарядном, красивом платье... С бархатной лентой и в кружевах... Полина Сергеевна рассказывала, что вам сшила такое. И готовить умела божественно – что правда, то правда. А какие пироги пекла!.. Но меня не учила. И мне... не пекла. Потому что жила она с вами. И старалась для вас...

Молюсь про себя – как умею. В Бога не верю – откуда? Верила только бабуля, Полинина мать. Та, что меня воспитала. Спасибо ей! Низкий поклон! Она померла, когда мне было тринадцать. И я осталась одна. Полина Сергеевна, конечно, на похороны прискакала!

Но быстро слилась обратно. Дня через три. Нет, четыре. А разница? Вот именно! Оставила дочь, и – тю-тю! Ее ведь ждала Королева!

Какая там дочь, вы о чем?

– Дочур! Ты уж... как-нибудь тут... А, Лидунь?

– Да, конечно! Я как-нибудь! Езжай, мама! Ты ж там нужнее! Звезде!

Как она без тебя? И кто ей подаст? Кто постирает? Кто чаю нальет? Кто ножки распарит? Ноготочки пострижет и пяточки кремом?.. Все ты, все Полина! Незаменимая и бесценная Поля. Сплошное везенье.

А я... я перебежусь! Подумайте, птица! Девчонка, пустяк, былинка! Проживет – куда денется?

– Мама! А можно... с тобой? Ну... в Москву?

– Ты что! – замахала руками как мельница. Глаза чуть не выскочили от испуга. – В Москву? К ней? К Королеве? Окстись! Обалдела совсем, что ли? Уф, мне прям плохо! Чуть сердце не выскочило! Ну, ты даешь!.. Как же я к ней заявлюсь... вместе с тобой? Она ж... не потерпит! Не примет она! Зачем это ей? – Газеткой обмахивается – покраснела вся от возмущения: – Не девка – урод! Такое вот выдать... «С собой!..»

Потом метнулась в погребушку. Слышу – набирает, банками гремит, раздумывает, что Королеве своей отвезти. Чтобы порадовать... Погреб у нас богатый! Мы с бабой старались...

Выползла наконец. Запыхалась. И банки с собой... Ох, как же мне сдержаться? Как не заорать на нее? «Что же ты делаешь? Что?!»

У нас же с бабой было все рассчитано, чтобы дожить до весны.

Укладывает в рюкзак.

Грузди соленые, черемша. Капуста квашеная, огурцы. Картошка – своя, на коровьем дерьме!

Господи, ошалелая! Картошку с собой потащит? Совсем одурела!

Ну-ну, пусть везет. Пусть тащит. Авось... надорвется...

Мы жили на пенсию. Нет, она присылала, если по правде. Но... бабушка брать не хотела! Говорила: пусть подавится своими деньгами. А потом справила мне пальто... А куда было деваться? Пальто, сапоги, новую форму...

Плевалась, а деньги взяла. А я ей сказала тогда: с паршивой овцы, баба! Ты не страдай!

А она только вздохнула.

Потом, став старше, я поняла, как баба страдала. Всю жизнь страдала. А уж за дочку свою Полину... думаю, больше всего.

Однажды сказала: «Я чужих ребяток не бросила! А она... дочку родную!»

Сколько баба в своей жизни хоронила! Маму, сестру, братика младшего... И мужа, и Марийку, сыночка Марийкиного.

И еще про дочурку сказала однажды: «Нету для меня Польки! Умерла».

А ей – хоть бы хны! Насовала все по мешкам и – вперед! «Мне, Лидка, надо спешить! Я всего на три дня отпросилась!» Лезет, чтоб чмокнуть. А я прямо аж отпрыгнула. Катись, дорогая мамаша! И чтоб тебя...

Чтоб тебя накрыло... вместе с твоей Королевой!

Интересно, а кого из них я ненавидела сильнее? Мать или ее, Королеву?

Я задумалась даже. Нет, все-таки мать...

Это она мне жизнь сломала. Распорядилась моей судьбой. А Королева – она ни при чем. Что она знала про нас? Про брошенную дочку и мать? Думаю, что ничего. Ничего Полина Сергеевна толком и не рассказывала. Да и зачем? У Королевы свои дела и свои проблемы – что ей до нас с бабой?

Ладно, проехали... сколько лет тому как... Вот только вот не получается забыть-то. Такие дела...

Уехала тогда мамаша, и я осталась одна. Ну каково? Ладно, дело прошлое.

Прошлое, а не забытое.

Часть первая

Деревня и город Н

А что у нас было в деревенском магазинчике? Да ничего – пряники каменные, сосалки дерьмовые, вафли с присохшими мухами, ржавая сельдь. А нам с бабой вкусненького хотелось!..

Нажарим оладушек с яблоками, сварим сладкую кашу – вкуснятина! В кашу баба добавляла сушеную вишню. Вишню сушила на чердаке. Разложим на старой простыне и сушим. Только нужно переворачивать, чтоб не заплесневела. И «делать сквозняк».

– Иди, Лидка, сделай сквозняк! – говорила мне баба. – Открой все оконца!

И яблоки сушила там же, на чердаке, и груши. Груши были дикие, терпкие. А в компоте хороши! В июне ходили за земляникой. Ходили далеко, в дальний лес. Там ее было навалом, целые поляны. А идти километров восемь, не меньше. И это только туда. Я-то молодая, резвая – мне что? А вот бабе было тяжело – уставала. Все садилась на пеньки отдыхать. А я все торопила: баба, скорей!

Варенья мы много варили, если был сахар. Его завозили в августе, два раза в месяц. Брали мы много – килограмм пятнадцать. Если давали. Домой несли в наволочках.

Еще баба делала мне конфеты – геркулес и сахар, на сковородке. Получались такие сладкие и хрустящие лепешечки, словно с орехами. Вкусно! Я всегда была сладкоежкой.

И огород у нас был большой. Картошка, морковка, свекла. Огурчики, помидоры. Сливовое дерево – слива крупная, желтая. Ешь – и сок по рукам.

Огурчики мы с бабой квасили в бочке. Большая бочка, пятиведерная. В нее – побольше укропу, хрена, дубовые листья. Огурчики хрустели!.. Ах, до чего же вкусно!

Весной ходили в лес за молодой черемшой. Тоже квасили в банках – баба твердила, что витамины. В августе и в сентябре – за грибами. Баба видела плохо, а грибы чуяла! Вон, Лидка, говорила, загляни под кусток! Подними ветку елки!

А там и вправду – грибы!

«Ты – мои глаза», – говорила мне баба.

«А ты, – как-то ответила я, – ты... моя мама!»

Выдала и испугалась. Страшно смутилась и убежала. Сидела в сарайке и горько ревела. И было мне почему-то так стыдно...

А когда меня баба нашла – погладила по голове и вздохнула.

Баба суровая была, никогда меня не целовала. А мне так хотелось обняться!

Баба моя – так я ее называла – была старухой крепкой, как старое, сучковатое и заскорузлое дерево. Лицо ее было суровым, губы вечно поджаты. Глаза давно выцвели – «слезы их съели» – так говорила она.

Бабины руки были сильными, шершавыми, шишковатыми и колючими. Столько тяжелой работы они несли на себе!.. День напролет баба трудилась: полола огород, готовила еду, убиралась в избе, доила корову Милочку и убиралась в хлеву. Сама правила и перебирала нашу старую крышу, сама чинила, шкурила и белила печь.

Я тоже всему научилась. Баба все приговаривала: учись, Лидка! В жизни все пригодится!

И тихо добавляла: да чтоб не пригодилось, дай тебе бог!..

Жизнь ее была – не приведи господи! Рассказывала она про это скупно и коротко, а я все упрасивала: ну, расскажи! Про все расскажи!

Баба ворчала: про «все»... Ишь, что удумала! Мала ты еще, чтоб про все тебе!..

А я не понимала, как тяжело было ей вспоминать свою жизнь.

Была она седьмым ребенком в семье. Отец попивал. Мать выбивалась из сил, чтобы всех накормить. Ходила на поденку – к кулакам на заработки.

Приносила копейки, и те пьяный муж отбирал. Лупил ее нещадно – до крови.

И однажды насмерть забил. Забил и испугался – сбежал. Правда, нашли и посадили. Только кому от этого легче? Бабе было тогда тринадцать лет.

– Лицом я была нехороша, – говорила баба, – да и нищая! Кто замуж возьмет? Да и папаша-убийца. Выходит, в детях дурная кровь, вот так...

Однажды, в черный день (слова бабы), схватило у нее брюхо. Да так сильно, что брат испугался и бросился за соседом. У того была лошадь. Сосед повез бедную девку в районку – так называли больницу в Н. Думал, не довезет – так девка была плоха. Уже и не отвечала и глаз не открывала. Но довез. Взяли в больничку и тут же на стол – операция. Гнойный аппендицит. Оперировал Марусю молодой доктор. Ей пятнадцать, ему двадцать пять. Никто не думал, что девушка выживет. А доктор верил! И сам выхаживал Маруську как мог. Оставался в больнице ночевать, носил ей из дома бульон – жалел сироту. Ну и «дожалелись» – вздыхала баба. Случилась любовь. Влюбился молодой доктор в деревенскую девочку и – пропал.

Пришел к родителям и покаялся: сказал, что Марусенька ждет ребеночка. А вы, мама и папа, вскоре будете дедом и бабкой!

Родители доктора встрепенулись: взять в дом деревенскую девку? Они-то «интеллигенция»! Да еще и с ребенком? Да еще и с огромной родней? Будут наезжать сестры и братья – голь перекатная? А их – всех кормить?

А Марусю надо было уже забирать из больницы. И привез ее доктор домой, к маме и папе. Увидели те девушку простую, неученую, да после болезни худющую и некрасивую и – в скандал! Орала как резаные: не хотим эту девку, деревенщину страшную! И ребенка ее не хотим! И невеста у тебя есть – чудесная девушка! Любит тебя, дурака! А эту... отправляй обратно! Знать ее не желаем!

Маруся это услышала и тихо ушла – в окно. Надеялась, что любимый бросится вслед. Не бросился. Потом еще долго ждала, что приедет в деревню, за ней или к ней. Не приехал. Больше Маруся его не видела. Никогда. А пузо-то росло! Нагло и высокомерно пер Марусин живот и плевал на всех деревенских соседей. И родила Маруся девочку, Полю. Хорошенькую, глазастую. Пальчики нежные –

как у доктора. Тяжело было. Братья и сестры. Еще совсем ма?лые. Дочка Полинка. И всех надо кормить. А как без мужика? Тяжело. А кто замуж Марусю возьмет? С таким вот приплодом и репутацией?

Да и дочка оказалась чудно?й – недеревенской. От запаха хлева воротит, от земельки-кормилицы – тоже. Брезгует всем. А уж как садятся за стол и хлебают из общей миски... Скандал! Дайте мне свою миску, свою!

Хорошенькая была – тоненькая, черноглазая. Волос кудрявый и нежный. Мечтала все: сядет бывало на ступеньках и... звезды считает. Вылезла «кровь» городская...

Взял Марусю вдовец – трое детей. Взял из милости, как в одолжение. Ну и стала моя баба пахать на чужую семью. Служанкой. Дети ее полюбили – правда, не сразу. А поначалу отцу жаловались, придумывали небылицы. Он молодуху наказывал – запирали в хлеву на несколько дней. Еды не носил. Полинку, правда, не обижал. Кусок клал такой же, как и своим.

Вот и задумала баба сбежать. Только куда? Решила, что в город. А поздняя осень, и обуви у нее нет. Как дойдешь?

И все же ушла. Правда, прошла немного – вскоре заболела, сильно простыла. Свалилась в лесу. Укрылась еловыми ветками и смерти ждала. Ох, как я мечтала скорей помереть! – рассказывала она потом. К маме поближе, на небо!

Но не случилось – нашли ее деревенские. Взяли на свою подводку и привезли к себе в дом. Там и выходили – спасибо им от меня. А когда она пришла в себя, пришлось признаться – кто она и откуда. Ну и вернули ее муженьку. Чтоб ему...

Как я его ненавидела! Даже сердце болеть начинало. Как же хотелось мне отомстить... за мою проклятую жизнь. Вот только кому?

Но к дочке моей он хорошо относился, грех жаловаться. Да и младших моих братьев и сестер принимал – за стол сажал и хлеба с супом не жалел. Такой вот был человек. Вот я и терпела.

Так и жила моя бедная баба. С нелюбимым мужем, с чужими детьми. С хозяйством и вечными хлопотами. Ох, жизнь у нее была... Врагу не пожелаешь! А спустя десять лет муж-тиран помер, слава богу. Баба хотела уйти в свою родную деревню, а как чужих детей бросишь? Да и не чужие они уже были ей – привыкла. Помогали Марусе приемные сыновья – без них она бы и не справилась. Потом сыновья эти выросли, переженились и подались в город. А баба осталась с Полиной и младшей дочкой Марийкой. Девочка эта была хроменькая, болезненная. Было понятно, что замуж ее не возьмут – не жена.

А дурочка эта Марийка влюбилась! Побегала на сеновал к пареньку – и залетела. А парень в отказ: ничего у меня, дескать, с убогонькой не было! И знать ничего я не знаю, точка. Ну и родила Марийка. Да не в срок – плакала много и детку свою недоносила. Тогда на бабу еще и младенчик свалился – тоже хиленький, недоношенный. А Марийка вскоре умерла – говорили, что от сильной тоски. А младенчик недоношенный помер в три года – сразу было видно, что не жилец он. Как баба моя ни старалась...

Баба рассказывала мне, что дочка была ей не в подмогу – оно и понятно! Я бабе сразу поверила! Чтобы Полина Сергеевна да помогла? Что вы, откуда? В матушке моей будущей эгоизм был всегда впереди. Желания и эгоизм – из них она вся и состояла.

Дочка жила своей жизнью, деревенский труд ненавидела. Видно, кровь доктора в ней была сильной – городская она была, не деревенская.

И баба на Польку махнула рукой: что делать-то? Силком не заставишь! Все мечтала Полина в город уехать, только об этом и грезила.

И вскоре баба с Полинкой уехали к себе, в отчий дом.

* * *

А еще девочка Поля была киноманкой. Очень фильмы любила! Как подросла – стала в город мотаться, в кино. Раз в неделю – железно. Там, в городе, покупала в киосках открытки с актерами. Цветные и черно-белые. Развешивала на стенах. Вся стенка пестрела от фотографий этих! Баба злилась: что пыль-то собирать? А Полина в ответ: только попробуй сними! Из дома уйду!

Карточки эти дурацкие любила больше, чем мать. А потом нашла и кумира – молодую актрису Лидию Краснопевцеву. Была та не шибко известной – так, ерунда. Снялась в нескольких фильмах и не в главных ролях. Хорошенькая, конечно! Все актрисы тогда были хорошенькими! Только были еще и талантливые! А эта – так, ни о чем. Но Поля ее полюбила! Фильмы с ней пересматривала, статьи вырезала – короче, фанатка.

В восемнадцать Полина неожиданно вышла замуж. Для всех неожиданно. Даже для бабы Маруси. Ох, как баба обрадовалась: значит, девка ее теперь останется дома, в Локшинке! А то все в город рвалась! Не хочу жить в деревне, и все тут!

Да, замуж. Парня звали Андреем. Хороший парень, непьющий. По специальности – повар. Работал в поселке в столовой. Симпатичный, воспитанный, из хорошей семьи. А бегал за Полькой! Как бегал!.. Цветы ей носил, пирожки и конфеты. Ну, она и согласилась. Говорила, правда, что не любит его... Баба так удивилась:

– А зачем замуж, Поля? Ты ж вольная птица, не то что я в молодости!

Поля плечиками пожала:

– Да обещала уже... Да и хороший он, это правда! Культурный. Матом не сыпет, на пол не плюет. Одет всегда чисто. Здесь таких нет!..

Свадьбу сыграли в столовой. Стол накрыли богатый – коллеги-повара постарались. Даже мороженое сами сделали – вот чудеса!

Жить стали в поселке, у мужа. Жили ладно, без скандалов и драк. Свекровь к Поле хорошо относилась, с уважением. А Поля – как птичка божья: журналы читает и в кино по-прежнему бегаёт. Свекровь молчит. Недовольна, а молчит. Ради сына. Тот просит: мама, не трогай ее! Умоляю! Не дай бог – уйдет!

Очень хороший был муж, этот Андрей Канавин. Все ей завидовали – как повезло!

А через два года родилась я. Назвали меня Лидией – разумеется, в честь кумира! Муж не возражал – он вообще не возражал и был счастлив.

Баба рассказывала, что и отец он был прекрасный – качал меня, книжки читал, песенки пел. Ну где в деревне встретишь такого отца и мужа? Редкий ведь случай, уникальный ведь экземпляр!

А она затосковала:

– Андрюша, отпусти меня в Москву! Умоляю! Съезжу на три дня, посмотрю город. Схожу в кино и в музей! Ну, пожалуйста!

Отпустил. Конечно же, отпустил. Он вообще ей не мог ни в чем отказать! Олух, пентюх, слабак! Дал сесть себе на голову!

Взял отпуск и остался со мной. Свекровь была недовольна – и ее можно понять. А почему бы не съездить вместе? Погулять по Москве, посмотреть на красоты? У сына ведь отпуск! А она полетела одна!

А там, в столице, поперлась моя милая матушка прямиком к Звезде своей, к Королеве, к кумиру!

Тихая-тихая, а не сробела. Караулила ее у подъезда три дня. Дождалась. Кинулась в ноги и давай в любви объясняться. Ну, та и опешила – не такая уж звезда, чтобы под ноги ей бросались. Видно, и вправду девчонка эта...

Словом, позвала в дом, напоила чаем. Оставила ночевать. Ну и «пропала» моя мамуля. Совсем, видно, крышу снесло.

А та ненароком предложила Полине к ней переехать – на честную службу. Увидела и поняла все про мою дуру: эта, мол, будет служить! Эта жизнь отдаст, не поскупится. В огонь и в воду – куда угодно. И плевать ей на все!

Вернулась Полина домой и загрустила. Глаза не смотрят на мужа. Там – жизнь! А здесь... скукота. Там – Москва! Там – квартира! Огромная черная машина. Там – она, КОРОЛЕВА! Королева ее грез и мечтаний. Поманили собачку, вот она и...

Понимаю, мужа она не любила. Но! У нее ведь дочь была уже! Как можно дитя оставить?

И сбежала Полина Сергеевна как-то поутру. Собрала вещички и – поминай как звали! Дочку, правда, к матери отвезла – крошки совести, видать, собрала по сусекам. Наскребла.

А муж Андрей, отец мой, страшно запил. Да за два года скатился... в овраг, в глубокую пропасть. С работы выгнали, денег не стало. Ко мне не ходил – говорил, больно смотреть. Пытался забыть ее, свою Полину... А не смог. Ну и пропал. А здоровье у него оказалось некрепкое – умер мой папа через три года. Умер от сердца. Я совсем не помню его – только по рассказам бабы Мани. И фотография есть – там он счастливый. Здоровый. Держит меня на руках. Глаза хорошие, добрые. И еще – немного несчастные, что ли? Словно предвидел он свой бесславный конец...

А мать его, моя вторая бабка, Полину прокляла. И отродье ее – это меня – знать и видеть не захотела.

Такие дела. Так и осталась я с бабой. До самой ее смерти.

А Полина Сергеевна осталась в Москве. У нее там была своя жизнь. И с нашей она не пересекалась никак.

* * *

Определили меня в кабинет. Так и сказала: ночевать будете в кабинете!

И строгим голосом пояснила: в кабинете Алексея Михайловича!

Ну, просто честь оказали! Великую честь! В кабинет самого! Великого и ужасного Гудвина!

Нет, без иронии. Муженек наш незабвенный, Алексей Михайлович Краснопевцев, – величина! И какая! Колосс, так сказать! Человек поколения, деятель искусства, кумир и наставник. Известнейший скульптор, который определил направление, суть соцреализма. Показал советского человека, труженика и борца, ученого и создателя. Вот эпитеты – талантливейший, даже величайший! О как! Создавший портрет поколения. Суть советского человека. Соль, так сказать, земли нашей! Ну и т.д. и т.п.

Работы его, «величайшего», гм... ну, как сказать? Творца? В те времена – да, наверное. А вот сейчас – ну просто чушь! Все грубовато, наивно и некрасиво – без теплоты, без юморка, без «изюма». Токари, высотники, крановщики и вожди. Туда же, в компанию – председатель колхоза, целинник, лихой шоферюга. Нет, были и представители интеллигенции – врачи, балерины, физики-атомщики. Но лица мэтр любил тиражировать простецкие и хитроватые. К женщинам – чуть больше нежности. Нет, не уважения, а так – снисходительной нежности. Лица эпохи – блондинки с курносыми носиками и губками сердечком. Такие, что ради высоких идеалов любви любовь к Родине не предадут!

Слезы фонтаном, сопли в подушку, комсомольские собрания с кумачом на стене, в общем... Фуфло. А ведь лауреат всяческих премий! Герой Соцтруда. Академик.

Ну и все, что положено в подобном раскладе, – машина с водителем, квартира в высотке и дача на гектаре земли. Уважали его там, наверху. И любили. Очень любили. Оправдывал «гений» надежды. Старался.

Жил долго и бурно – руководил художниками, являлся депутатом всяческих съездов любимейшей партии. Писал гневные и обличительные статьи, в которых бросался, как зверь, на инакомыслящих, отступивших от «генерального плана». Делал это с остервенением цепного и верного пса. Читала я, что многих дядечка этот и потопил, и сгнобил. И просто ходу не дал – кислород перекрыл. Властью «гений» наш обладал сокрушительной и всеобъемлющей. Вот и старался изо всех сил. С космонавтами дружил, с писателями. С иностранными деятелями. Да с какими – знаковые люди двадцатого века! Из заграниц не вылезал: всюду, везде – флагман и посол Великой державы!

Скопытился наш лауреат в восьмидесятых – совсем стариком. Уже тогда начала попискивать продвинутая мо?лодежь, и старика потихоньку загнали в угол. В принципе, правы они. Кто стоял у руля? Да, замшелые, маразматические дедки. А тут – перестройка. В общем, погнали. И все же... По-человечески их было жалко. Правда, не всех...

Этого мне не было жаль – морда злющая, брызжет ядовитой слюной, отстаивая свои идеалы. Но, может быть, искренен? Похоже. Когда все растоптали – всю жизнь. Вот и помер в одночасье – от инфаркта. Хотя уже далеко за восемьдесят годков... Хватит, наверное? А ведь колбасился до последнего – сопротивлялся. Бился как лев. Протестовал, возмущался. Скрипел.

И статейки пописывал, и интервью раздавал: «все халтурщики, все барахло!» Собака лает, а караван идет.

Какой караван? Твой давно сгинул в пустыне! Пожил сладко – и будя! Посторонись.

Но, думаю, переживал. Привык быть в авангарде. А тут... Сплошной позор. Вышел в последний раз на трибуну и... освистали! Умник один даже ботинок свой снял и кинул на сцену. В дедка не попал, слава богу. А то б зашиб.

Умер наш деятель искусств легко, как истинный праведник. Лег, уснул и... тютю! В мир иной. Надеялся, что на облака. Наверняка. А там – кто же знает! Может, греет свои дряхлые кости на сковородке и побрякивает. И поделом!

И напоследок все получил по полной программе: дорогой дубовый гроб, место на кладбище – престижное, на Новодевичьем. Рядом – соратники. И недруги рядом. Да уж какая теперь всем разница? Я там была, приходила. Памятник огромный и пафосный – черный гранит, медные розы у изголовья. И нежные слова от верной жены. Скорбит и просит прощенья. Вот интересно – за что?

А еще слова благодарности. Пренебреженно! Спасибо, спасибо... Конечно спасибо! В люди вывел, в киношку пристроил. Кем она было до него? Да никем! Мелькнула пару раз в эпизодах – никто и не заметил. Хату в высотке оставил. Чем плох?

Лидия Краснопевцева. Тоже звезда. Ну или почти звезда... Взял молодую и неизвестную дурочку и – создал! Пигмалион! Теперь вот вдова. Все закономерно: разница в возрасте была у них большой, почти в двадцать лет. Точнее, в семнадцать. Я все про них знаю, все изучила. Могу быть персональным биографом сладкой парочки. Ну, по крайней мере, все, что было в источниках. И что есть в Интернете.

А что там поглубже, в их душах?.. Какие скелеты в шкафах... Вот этого я не знаю.

Но непременно узнаю! А иначе для чего я здесь, в этом доме?

Кабинет темен и мрачен. Все очень массивное, очень добротное и дорогое. На века! Дубовые панели книжных шкафов, кресла с широкими подлокотниками, обитые гобеленом. Огромная люстра: зеленый плафон, висюльки-сосульки. Два рожка не горят – а мне и не надо. Я лампу зажгла, настольную. Тоже зеленого стекла и мрачноватую. Не любил дедка яркого света. Может, сам от себя так скрывался? В шкафах много книг: подписные из дорогих, в тисненых переплетах. Кажется, совсем нечитанные – уж больно ровно стоят. Да и зачем ему классика? У него своя классика, сам наварганил – про доярок и крановщиков.

На стенах картины – пейзажи и два портрета. Пейзажики так себе, типа «лес и река», все просто и слишком наивно. Или новостройка Москвы: поле, горизонт и пара новых многоэтажек. Я не поклонница соцреализма...

А вот портреты довольно занятные. На одном – сам Герой, при полном параде и орденах. Физиономия хмурая и недовольная. Мрачная физиономия. Видно, несладко ему все-таки было там, внутри себя. Неспокойна была его душонка. А может, просто когда-то надел эту маску, да так и прилипла она навсегда: строгий босс-академик. Учитель. Маэстро и мэтр. Патриарх и пророк.

А на втором портрете – женщина. Молодая, но грустная. Серьезная очень. Темные, тяжелые волосы, темные глаза, длинные брови. В скромном черном свитерке и цепочке с крестом. Красивое и необычное лицо. Печальные глаза, насупленные брови. Легкая, почти неуловимая усмешка на красивых губах. Не то чтоб шедевр, но – мило. И живо. На холсте, в самом низу, подпись художника. Неразборчиво и заковыристо. Ну да и бог с ним!

А вот портрета любимой супруги не наблюдается. И кто эта женщина в свитерке? Кто? Не она, не Лидия Краснопевцева, нет.

А кто же? Может быть, дочь? От первого брака есть дочь. Точнее, дочь его первой жены. Взрослая тетенька, пенсионерка. Немногим младше последней жены. Но нет, не она. Дочурку я эту видела где-то в журнале. Давала интервью про заслуженного папашу. Некрасивая такая, тусклая. С тяжелым подбородком и совиными глазами. Темноволосая, длинноносая. Унылая тетка. Совсем не портретная красotka, совсем.

Вот и еще загадка! Что ж, отгадаем.

Стол письменный тоже внушительен – огромный, на львиных ногах, под зеленым сукном. Чернильница – из антикварных, длинная, с отделением для перьевых ручек, с баночками для чернил и фигурками зверей – белки и зайцы. Похоже что все – серебро. Стопки газет – пожелтевшие, ветхие. Совсем простой будильник «за рубль пять». Конечно, «заснувший». И слава богу! Тикали они так, что не уснуть. Помню такой.

И стакан в подстаканнике – разумеется, серебро. На подстаканнике – вождь всех народов Иосиф Виссарионович. Гордый, орлиный профиль. С другой стороны – башня Кремля. Ого-го!

Стакан, разумеется, пуст и отмыт. Стоит, будто поджидает хозяина. А не дождется.

Диван, на который определили меня, – из той же эпохи. Сталинский классицизм. Или ампир? Я такие в кино видала – кожаная высокая спинка, деревянный виток наверху и жесткие валики.

Постелила. Жестковато и скользко – простыня «едет». Ну, ничего. Переживу. Скачусь – поднимусь. Возле дивана ковер лежит. Все ерунда! Главное – дело. Главное – что я тут. Как долго я к этому шла...

А дело идет пока... Тьфу-тьфу-тьфу!

В кабинете пахнет пылью и тленом – пыль в четыре пальца, не меньше. Ох, не задохнуться бы.

Открыла окно – на улице минус двадцать. Холодно. Одеяльце мне выдали «жидкое» – древняя и колючая «верблюжка». Жесткая – не подоткнуть.

Усмехаюсь: под ним наверняка спала дорогая Полина Сергеевна. Милая мама моя.

Все по наследству! И нищета, и безродность. И ты всегда останешься голытьбой и босотой. Потому что судьба. Только спала моя мама, Полина Сергеевна, не в кабинете, наверное. Туда бы не допустили. А где же спала? Вот интересно! В каком закутке? Завтра узнаю. Узнаю, где спит прислуга.

Но мы это дело поправим! Изменим, так сказать, классику жанра. Пусть будет однажды не так!

По справедливости будет.

Сон не идет... У меня так всегда, если с усталости. Ворочаюсь на скользкой коже – холодно и неудобно. Ладно, принцесса на горошине! Цаца какая!.. А в твоей избе было лучше? Вспомни-ка: как печка к утру остывала, как из окон дуло... Разбитое стекло бабуля склеила серой замазкой – уродливо, будто шрам на лице. Впрочем, при всей прочей убогости...

Подгнившие половицы стонали, скрипели. Растрескавшаяся печь нещадно дымила – сколько не замазывай трещины глиной. Гудел и трясся как сумасшедший старенький холодильник «Саратов». Почти не морозил, а трещал – вот-вот крякнется!

Но нам хватало и его. Все остальное хранилось в погребе. «Спасибо деду Сереже!» – поминала мужа бабуля добрым словом только за это.

Да и что остальное? Все, что мы с бабой Маней надыбаем! Летом, в лесу. Сначала шла земляника, позже – черника. Дальше – малина, а уж за ней брусника и клюква. Особенно баба Маня уважала последнюю, говорила: это наши с тобой, Лидка, главные витамины! Без них пропадем!

Ну и варенье, конечно, – основное лакомство! Конфет в лавку почти не завозили – только белесые «Школьные» и липкие подушечки с кислым повидлом. Все без обертки. Я брезговала, когда видела налипших ос и зеленых мух. Я вообще была очень брезгливая. Баба смеялась: в деревне, Лидка, брезгливых нет!

Баба говорила – «гребую». По-деревенски значит «брезгую».

Потому оставалось варенье. Но сахар! А поди, достань – все ведь варят.

Да и деньги... Стояли в очередях, доставали сахарок. И бабуля варила варенье. Больше всего я любила малиновое. А из малины лесной – о, это чудо! Как она пахла! Мелкая, сладкая – настоящее лакомство. Чернику считала безвкусной,

пустой. А баба Маня ее уважала: для глаз – это варенье, говорила, а сухую – «от живота».

Точней, от поноса. Баба Маня говорила по-простому: «от дрисни».

А живот схватывал часто, потому что мы, дети, обрывали незрелые яблоки и сливы в садах.

Еще бабуля сушила лапчатку-трилистник, как она его называла. Тоже от «ентого дела». Она вообще знала кучу лечебных трав, моя бабка.

А куда было деваться? В поселке – а до него шестнадцать км, а если весна или осень? Распутица? – в поселке один только анальгин. Вот и лечила баб Маня травой. И помогало – от кашля, от головы, живота. Пучки этих трав висели в сенях, головками вниз. И пахли! Как они пахли... Мята, полынь, зверобой...

Малину тоже сушили – на печке. Потом складывали в баночку – на зиму. А я эту малину таскала. Она была как конфеты. Бабуля ругалась.

И огород – наш кормилец. Картошка, морковь, капуста, свекла. Картошки побольше – главная «писча», как говорила бабуля. Копали по осени, перебирали, сортировали – и в погреб.

А в августе начинались грибы. Вот это была и работа, и радость! Брали все – все пригодится! Не брезговали и сыроежкой, и козлятами, и свинушкой. Солили, сушили и – в погреб. Капусту в октябре, после первых морозцев, бабушка квасила. Укладывали в бочонок и тоже ставили в погреб.

Хлеб не пекли – где взять дрожжи? Они были редкостью. Иногда привозила из города соседка. В лавку нашу хлеб завозили всего раз в неделю. Брали помногу – буханок по шесть. Но пропадал он довольно быстро – черствел и покрывался серой плесенью. Тогда шел скотине. Пекла баба Маня лепешки из грубой и серой муки. Получались они мокроватые на разломе, жестковатые, но я их обожала!

На «задках», за домом, рос куст черноплодной рябины. Из нее – вязкой и терпкой – бабуля «ставила» вино. Точнее, наливку. Сладкую, густую... Я потихоньку, по глотку, потягивала из бутылки. И голова начинала кружиться.

После коровы Милочки мы больше скотину не заводили. Кто будет сено заготавливать? Я и бабуля? Нам не под силу – баба старела. Держали пяток кур – старых, крикливых. Неслись они плохо. Бабуля яички «копила» – чтоб мне на омлет. Омлет ставила в печку – с молоком и мукой. Он поднимался и был словно пышный пирог.

Про дочь свою и мою мать, Полину Сергеевну, баба Маня говорить не любила, с соседками трепливыми и любопытными ее не обсуждала. Со мной тоже. Когда я заводила разговор про мать, она замолкала. Подождет губы в нитку и отвернется. А потом разозлится и скажет: «И чего тебе до нее? Тебе что, со мной плохо?»

Нет. Не плохо. А очень даже хорошо! Бабулю я обожала, и жили мы дружно. Но... По ней я скучала. По Полине Сергеевне. Ох, как скучала! Иногда и ревела: спрячусь от бабы и...

У всех были мамки! У всех. Мамки ругали, бранились, охаживали мокрыми полотенцами, но... Они и жалели! Обнимали и целовали. Защищали.

А я...

Баба Маня меня любила. Очень любила. По вечерам, когда я укладывалась на ночь, пела мне песни. Любимой моей была «Миленький ты мой». Я почему-то плакала, когда баба мне ее пела.

Жалко мне было девушку, которую милый с собой не хотел брать... Жалко до слез!

И меня никто не хотел взять с собой. Даже она не захотела, моя мать.

Значит, я такая плохая, раз я ей совсем не нужна?

Потом эти мысли много раз приходили мне в голову. Когда от меня ушел Димка, мой любимый муж. Когда сбежал Валентин, мой любимый мужчина...

Но это все было потом. А комплексы мои остались со мной навсегда.

Помню, приехала как-то Полина Сергеевна – погостить. Это так называлось.

Меня уложили, а я не сплю – слушаю их разговор.

Баба Маня жужжит:

– Дура ты, Полька! Куда подалась? В прислуги к капризной барыне? Ты что – крепостная? А дочь у тебя? Мне ведь тяжко уже, Поля! Я старая! И чего тебе там? Медом намазано? Деньгами забрасывают? Да я еще понимаю – терпеть ради хорошего мужика! Основательного! Поняла бы даже, если дитя тогда побоку! А здесь? Если не любовь, тогда зачем? Нравится, что понукают?

– Не понукают, мам! – оправдывалась Полина. – Совсем не понукают! А даже наоборот! Очень хвалят и ценят! Не может она без меня, понимаешь? Говорит: «Я, Поля, без тебя – как без рук!»

Баба Маня вздыхала:

– Не могут! Как же, не могут! Уйдешь – тут же забудут! Или получше найдут. Помоложе, покрепче. А заболеешь? Вышвырнут, как котенка приبلудного, и тут же забудут. Знаю я их... А то, что девка растет без тебя? Это как? Где твое сердце, а, Полька? Куда закатилось? Не любишь ее? А про Андрюшку совсем забыла? Грех на тебе, Поля! Ох, какой грех!..

Тут я начинала реветь, уткнувшись в подушку. И на голову клала другую – чтоб не услышать мамашин ответ. Про любовь. Про меня. Про папку Андрея. Боялась ужасно!..

А еще мы торговали! О как! И смех, и грех эта наша «торговля»: десяток яиц, шмат сала, картошка, моркошка. Грибы – если лето. Ягоды всякие. И я, малая, «букеты» делала: ветка рябины, разноцветные листья клена, золотые шары, георгины и астры. Колдовала долго, смешивала, меняла. Баба удивлялась: «А красиво, Лидка! Ох, как красиво!» Только букеты эти не брали... Сало брали, грибы... А вот букеты... Я даже плакала – так было обидно. Спрашивала у бабы: «Почему не берут? Красота ведь, правда?» А баба вздыхала: «Не до красоты сейчас людям. Ох... выжить бы...»

Однажды букет мой купила женщина – красивая, как мечта! Остановилась машина – женщина была за рулем – и вышла оттуда Красавица, Фея. Глянула на меня и улыбнулась:

– Сама придумала?

Я смущенно кивнула:

– Сама.

– А ты талант, девочка! Такое придумать!.. Небось и рисуешь?

Я снова кивнула.

– Тебя надо учить! – сказала женщина. – Передай своей маме! Обязательно надо учить! А не... – она оглядела наше с бабой торговое место на обочине, – а не картошкой торговать! И вы, бабуля, скажите родителям! – Она улыбнулась, взяла два букета, положила на ящик деньги и почему-то пригрозила пальцем бабе Мане.

Вжик! И она исчезла, оставляя за собой облачко дыма, придорожную пыль и... запах мечты...

Полина Сергеевна приезжала нечасто и ненадолго. Всегда торопилась обратно. Откровенно смотрела на часы. Плохо ей было у нас. Поначалу, когда я была совсем мелкой, я ревела белугой и бежала ее провожать. И за автобусом долго бежала. Пока мордой в пыль не падала. Коленки всмятку, лицо в потеках – пыль, грязь и слезы. Кровища течет по ногам, я реву... А Полина Сергеевна машет в окошко.

Вот, думаю, был бы мой ребенок, мое дитя? Да я б из автобуса выпрыгнула! Хоть в окно, на ходу! Чтобы прижать свою деточку – маленькую, тощую, грязную и зареванную... Прижать к себе и не отпускать!

Нет. Уезжала. Помашет и – за горизонт. А я бреду спотыкаясь и в голос реву.

Баба Маня стоит у калитки:

- Чего бросилась, глупая?

Обнимет меня, умоет, переоденет и даст чаю с конфетой.

Подарки Полины Сергеевны – килограмм шоколадных конфет «Каракум», коробка зефира. В шоколаде. Вкусно – уммм! Мы с бабулей ели по половинке – поделим и с чаем.

Колбасы докторской полбатона – а то пропадет! «Как пропадет, Польша? – Баба качала головой. – Ха! Пропадет! Да мы его тут же, за один вечер! Вкусно же как!..»

Еще привозила колбасный сыр – целую палку. И вафельный торт. Торт бабуля нарезала на тонкие пластинки – узкие палочки, чтоб растянуть и смаковать. Хватало надолго.

Привозила мне и кое-что из одежды – ситцевый сарафан или кофту из шерсти. Отрез сатина, чтобы баб Маня нашла «сиротке» трусов. А готовые купить? Дешевенькие, но с кружавчиками! У нас в классе у девчонок такие были. Ах, красота...

Ну и какие-то деньги – я уже говорила. Баба Маня клала их за икону Николая Чудотворца.

Старая икона, еще ее бабки. Да... Не хочу вспоминать... А надо – для пользы дела.

После похорон бабы Мани икону она увезла. Сняла со стены и – в сумку.

Я говорю:

- Зачем тебе? Ты ж в бога не веришь!

А она мне в ответ:

- А тебе зачем? Ты, что ли, веришь? Ты ж пионерка!

- На память! О бабушке, - я тогда закричала.

А она махнула рукой:

- Не болтай! Беру - значит, надо! Память... Что, для этого вещи нужны? А так что
- сразу забудешь?

- А тебе? - закричала я. - Тебе для чего? Королеве своей отвезешь? Чтобы та
умилилась? А потом в чулан засунула? На фига ей это? Или она у тебя в бога
верит?

Буркнула только:

- Не твое дело!..

И - тю-тю! Я даже до свидания ей не сказала. Отвернулась к окну и заревела.

А она крикнула из сеней:

- Ну пока! Держись, Лидка! И веди себя хорошо!

- Да пошла ты! - это я ей вслед.

Услышит? Ну и пожалуйста! Мне плевать! Не было у меня матери и не надо. Не
привыкать! Переживу!

После смерти бабы присматривала за мной тетя Тоня, ее племянница. Сама
одинокая и пожилая. Старая дева. Мать с ней сговорилась. Потом я узнала, что
она ей платила пять рублей в месяц. На питание. И еще три - «за труды».

Тетя Тоня переехала в нашу избу. Легла на бабино место. Днями спала - больная
была, давлением маялась. Какой там следила! Какое питание! Готовить она не
умела и учиться не собиралась. Ко мне была равнодушна. Чужая девочка. Она ко

всем была равнодушна – никого не любила. Гордилась тем, что осталась девицей! Мужчин презирала. Она и вправду была нездоровой. А сопротивляться недугам своим не желала. Чуть кольнет – сразу в кровать. И храпит. А как проснется – сразу: «Лидочка, а у нас есть что покушать?»

Или так: замочит свои портки в корыте и ждет. Ждет, когда я постираю. Я, конечно, не подхожу. И она не подходит. А потом это корыто так начинает вонять... Что нету сил мимо пройти. Ну и что я делаю? Я стираю. А эта снова кряхтит: «Лидочка, простирни! А, голуба? Я даже голову поднять не могу – так стреляет...»

Почему я бралась? Почему я готовила Тоньке еду? Почему стирала ее тухлые портки? А потому что боялась! Боялась, что хватит Тоньку удар и Тонька помрет. Окочурится. Или еще хуже – разобьет дуру эту паралич и ляжет она навсегда. Я читала, что давление очень опасно. И кто будет за Тонькой горшки выносить? Правильно, Лида! А если помрет – девочку Лиду оформят в детдом.

Вот и... Словом, понятно.

Тонька спала и жрала. Все. Вот тогда я и стала хозяйкой – все было на мне: и стирка, и огород, и готовка. Тонька только приказы мне отдавала: свари, постирай, принеси. Тоньку я ненавидела! Особенно когда она надевала бабины вещи. Вещей, конечно, у бабы было немного, да и те – старая рухлядь. Но Тоню это устраивало. Например, нашла она две теплые и новые кофты и юбку – подарки Полины Сергеевны. Я про них и не знала – баба их спрятала. Не хотела она носить вещи от «любимой» дочурки. А Тонька нарыла! И ходит довольная. Я ей: «Сними! Не твое! Положи, где взяла!»

А она пасть свою как распахнет, да как меня матом: «Я тут с тобой! Да вместо того, чтобы жить для себя! Да вместо того, чтоб отдохнуть! Да за тобой, за эдакой дрянью!.. Говно подтираю!»

Мне даже смешно стало: «Ты – и за мной? Ты для меня?»

Мы с ней почти не разговаривали. О чем нам говорить? Так, перебросимся парочкой фраз и снова молчим.

А когда мать приезжала, Тонька скулила. Ныла и хныкала: «Устала я, Поля, тяжело с твоей девкой. Шустрая она и языкатая! На всем экономит, зараза такая! Я ее прошу конфеток купить, самых дешевых! А она? Теть Тонь, мы из бюджета уже с тобой вышли! Не будет конфет, и вафель не будет. Ешь, вон, мед и суши сухари!»

И денег все время просила. Клянчила, ныла: «Поль, нам не хватает! Подкинь, а, Полин?»

А я уже не редела! Потому что так ее возненавидела... что сердце болело. От злости жгло под лопаткой. А может, и не сердце... А просто злость и тоска. И еще – обида. Такая, что...

Говорить не хочу. Страшновато. Это потом, много позже, я словно заledenела. Закаменела от обиды и боли. И все мне стало по барабану. Вот так.

И я ее не простила. Ни разу. Просто заморозилась как Снежная королева – сердце из льда и душа пустая.

В школе меня не любили. Была я неразговорчива, нелюдима, близко ни с кем не сходилась. Я стеснялась. Стеснялась своего одиночества, своей матери, которая бросила меня...

Училась я хорошо. Но особого интереса к учебе не было. Пока не появился Захар Ильич.

Захар Ильич пришел к нам в пятом классе. Учитель русского и литературы. Пожилой мужчина с сиплым, прокуреным голосом. Был он коренным питерцем, волей судьбы занесенным в наши пенаты.

И этого хилого, невысокого, тихого мужичка все полюбили мгновенно. Он был человек, наш учитель. Он нас уважал.

Тихим голосом он рассказывал нам то, о чем, думаю, не знали и многие взрослые. Биографии любимых писателей и поэтов он знал досконально. Маяковский, Есенин, Блок, Гумилев и Ахматова. Он обожал поэзию и старался привить эту любовь и нам – простым, деревенским, туповатым и ленивым

подросткам.

Захар Ильич рассказывал о них, как о живых и страдающих людях, а не безликих портретах на стенах в классе. Как и кого любили, как бедствовали, как пережили и приняли – или не приняли – революцию. Как вступали или не вступали в сделки с совестью. Как нищенствовали и приспособливались к власти тиранов. Как противостояли этой власти. Он говорил про них так, что нам казалось, будто мы знаем их лично, будто знакомы с ними и сочувствуем им. Они стали для нас живыми. Молодой доктор Чехов, любивший многих женщин и не создавший в молодости семьи... Его странная и некрасивая жена, видимо, так и не полюбившая его... Его болезнь и понимание скорого ухода... Ахматова и ее роман с Модильяни... Брак с Гумилевым и его кончина... Эвакуация в Ташкент и отношения с сыном... Одиночество, нищета, избушка в Комарово... Статьи в «Звезде» и «Ленинграде»...

Есенин и его женщины... Его бурные загулы и невыносимый трагизм... И непонятная смерть...

Маяковский и Лиля... Его любовная лирика, которой нет в школьной программе... Муки совести и прозрение... Самоубийство...

Маяковский для нас был трибуном революции – это понятно. Твердый взгляд, волевой подбородок. А тут... Такая страсть, такая нежность, такая любовь... Живой человек – тонкий, нежный, ранимый.

А Гумилев и его путешествия в Африку, в Абиссинию:

«Сегодня особенно грустен твой взгляд.

И руки особенно тонки, колени обняв...»

Ушел добровольцем на фронт Первой мировой.

И какая же страшная смерть настигла его в двадцать первом году... Было ему тридцать пять...

Рассказывал Захар Ильич и о Зощенко, и о Юрии Олеше.

Он рассказывал нам о многих, кого любил, ценил, уважал. А про иных говорить не хотел – отделялся коротким и скупым: «А произведения этого автора вы прочитаете самостоятельно».

И мы больше вопросов не задавали. Помню, сказал про Достоевского: «Кто не хочет – тот не читает. Прочтете позже, лет через десять». Я прочитала.

На педсоветы Захар Ильич не ходил: «Извините, жена хворает...» И торопился домой.

А вот факультативы устраивал! Раз в неделю. Правда, ходили туда... раз-два и обчелся... Я, конечно, не пропускала.

Захар Ильич учил нас, бестолковых и непоседливых, любить поэзию, понимать и слышать ее. Читать прозу и чувствовать ее. Он объяснял нам красоту русского языка – пробовать его «на язык», не только на слух.

Он пытался сделать из нас, простых деревенских подростков, думающих о танцах в заплеванном клубе, людей. Тонких, честных и милосердных. И мы, простые и русопятые, сидели на его уроках, раскрыв рот, и не слышали звонка с урока.

Я подружилась с Захаром Ильичом больше, чем все остальные. Провожала его до дома, после факультативных занятий. Мне было дозволено это, и я была счастлива! По дороге к дому мы продолжали беседовать. Захар Ильич был щедр на рассказы и легко делился мыслями и ощущениями.

– Лида! Вам нужно поступать в институт! Вы так правильно слышите стих! Вы так чувствуете поэзию! Ведь это как музыкальный слух – слышать поэзию! – говорил он.

В восьмом классе Захар Ильич пригласил меня в гости. Обычно я провожала его до калитки, и мы прощались. Я видела, как он устал, как посерело и осунулось его лицо.

Но тут он сказал:

– Пойдемте, Лида, выпьем с вами чаю с вареньем! У нас отличное крыжовенное, жена наварила.

И я, с замиранием сердца, вошла в его дом – в первый раз.

Его жена, Нина Валерьевна, почти все время лежала.

– Ниночка очень болеет... – грустно вздохнул он, – после инфаркта.

Была она женщиной неприметной – тихая, серая мышка. Но глаза за толстенными стеклами очков – были яркие и прекрасные.

В избе было чисто, почти стерильно. Но очень бедно. Даже по сравнению с нами. У нас была горка с какой-то посудой, кухонный буфет и старенький телевизор. Здесь – ничего. Стол, кровати, самодельный книжный шкаф. Все. Только книг было много.

Мы пили чай, и Захар Ильич рассказывал мне про Питер. Про музеи, дворцы, набережные и Невский.

– Почему вы уехали оттуда? – осмелилась я на вопрос. – Из такого прекрасного города... Сюда, к нам, в деревню...

– Обстоятельства, – развел он руками. – Иногда они бывают сильнее. Да и Нина стала болеть... Решили, что здесь тишина и свежий воздух...

Захар Ильич замолчал. Нина Валерьевна тихо вздохнула и ушла к себе.

– Непременно поезжайте, Лидочка, в Питер! При первой возможности, самой малой! Вы так напаетесь там красотой!.. Вы мне поверьте! Город – волшебный, ей-богу! Мы с Ниной очень скучаем...

– Вернетесь? – дрогнувшим голосом спросила я, конечно же, из личного, шкурного интереса – не дай бог, уедет любимый учитель!

– А некуда! – улыбнулся Захар Ильич. – В комнате нашей, на Садовой, нам... места нет. Так получилось. Там живет наш с Ниной сын. Надеюсь, что живет... – и он снова вздохнул.

Я поняла: они сбежали от сына. А что уж там было – не мне расспрашивать. Но, видно, беда.

– А вы, наверное, в город хотите? – спросил Захар Ильич с лукавой улыбкой.

Я кивнула:

– А что здесь делать? Копаться в навозе? Нет, не хочу.

– Все так, – кивнул он и загрустил. – А ведь здесь прекрасно, Лида! Вы оглянитесь! Лес какой, поле! А озеро ваше? Тишь да гладь, да божья благодать! Вы мне поверьте! А вот возможности – да... В городе больше. Но вы подумайте все же... Чтоб не сгоряча. Хотя... вам же замуж выходить нужно. А с женихами здесь... полный ведь швах! Нет тут для вас подходящего.

Я растерялась: «Нет для меня? А чем я, собственно, отличаюсь от других? От моих одноклассниц?» Но спросить мне было неловко.

А Захар Ильич смотрел на меня и улыбался, видя мое смущение.

– Правильно, Лида! Езжайте, учитесь! Дерзайте! А там – жизнь покажет! Она ведь умнее нас с вами будет! Вы же умница, Лида! И еще, – он прищурился, – вы – красавица!

– Ну уж... – смутилась я – какая красавица? Обыкновенная я, как все остальные.

Он замотал головой:

– Нет, Лида! Настаиваю: красавица! Лоб у вас высокий и чистый! Нос... смешной и курносый! Рот упрямый – ни за что не уступлю, и не старайтесь! – Он засмеялся. – Я прав?

В ответ я лишь пожала плечами.

– А глаза?.. Серьезные, строгие – как у взрослой девицы! Впрочем, вы такая и есть! К сожалению... – грустно добавил Захар Ильич. – И красота ваша, Лидочка... Неяркая и неброская – да... Но чистая и милая! А это, поверьте, важнее! Умный мужчина увидит, не сомневайтесь! Вы, Лида, человек непростой, но надежный! С характером, верно?

Я, окончательно смущенная и растерянная, покраснела и кивнула.

Многое я не понимала тогда... Обиделась, дурочка! А ведь он, мой Захар Ильич, хотел меня уберечь! Видел, как сердце мое наливается злобой. Видел, как я страдаю.

И еще... Однажды, в очередной раз за чаем, он вдруг внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Лидочка! А вы не держите зла на свою маму!

Я вздрогнула и посмотрела на него. Думаю, в моих глазах он увидел такой ужас, что смутился и сам.

– Это... как? – хрипло спросила я.

– Да вот так, как вышло. У всех своя судьба, Лидочка! И никто не знает, счастлива ли она там...

– А зачем... тогда? – я не узнала свой голос.

Захар Ильич развел руками:

– Да кто его знает – зачем... Жизнь так сложилась! И надо ее пожалеть. Ведь там она без семьи.

Я усмехнулась, и разговор не продолжила. Мне было стыдно от того, что ему все известно. Хотя... Деревня, что говорить!..

А после того разговора я обиделась на Захара Ильича: он защищает ее? Эту?.. Разве ее надо жалеть, не меня?

Нет, правильно говорят люди: чудаки этот учитель, ей-богу!

А через полгода умерла Нина Валерьевна. И Захар Ильич стал попивать...

Вскоре он уехал. Просто уехал и никому ничего не сказал. Запер дом на замок и... Ни письма, ни записки. Бабы сплетничали, что он решил помереть – жить, мол, без Нины не мог. «Утопился, наверное!.. – шушукались бабы. – Пошел на речку и утопился!»

Но тело не находилось. Никакого письма не пришло, и вскоре все об этом забыли. Все, кроме меня.

Я страдала и считала, что он меня предал. Мы ведь дружили! Он же видел, кем он был для меня! И даже мне... Ни записки, ни слова!..

Так исчез из моей жизни еще один близкий и дорогой человек... Человек, пытавшийся мне объяснить...

Тетя Тоня умерла, когда мне было шестнадцать. Последний, выпускной класс. Полина Сергеевна на похороны не приехала, хотя телеграмму я ей отбила.

А для меня это было облегчением: я наконец осталась одна!

Школу окончила, дом заперла, кур своих древних зарезала и раздала по соседям. И рванула в город. В наш уездный центр Н. Подала документы в педучилище и заселилась в общежитие. Экзамены сдала легко и поступила.

В городе мне нравилось все! Наш маленький, тускленький, захудалый Н. казался мне центром Вселенной. Я удивлялась автобусам и такси, могла долго стоять на железнодорожном вокзале и «проводить» поезда. Часами сидела в станционном буфете и пила остывший чай, неотрывно глядя в окно. Думала: куда летят поезда? Куда едут все эти люди, в какие края? От чего бегут и что ждет их там, в «прекрасном далеке»? Я завидовала им. Завидовала их передвижениям и

переменам. Я мечтала о путешествиях, о морях и городах. И, конечно, о Питере – городе моего учителя, который я полюбила заочно.

И еще, я стала почти городской. Я обрезала волосы и сделала модную стрижку, научилась красить ресницы и ногти и копила на новые трусики и лифчик. Я рассматривала журналы мод и мечтала, мечтала... Мечтала о красивом белье, лаковых туфлях, кожаной сумочке – почему-то зеленого цвета. Видела такую в польском журнале мод. Маленькая, изящная, ярко-зеленая сумочка с металлической пряжкой. Это была моя самая главная и заветная мечта.

Я недолго пробыла «деревенщиной» – пообтесалась довольно быстро. Девочкой я была сметливой, и жизнь хорошо научила меня приспособливаться.

Тете Поле, ха-ха, написала я коротенько – так, без подробностей. Она мне ответила. Тоже убористо: «Поздравляю студентку!» И приложила перевод на десять рублей! Смешно... Я – оборванка. Пальто старое, куртка с заплатками на локтях. Два платья и кофточка – сшила соседка. Сапоги с раззявленной пастью и пара туфель. И все! Живи, студентка! Живи, юная дева! Обольщай женихов и кокетничай. От маминой щедрости...

Ну и пошла я мыть соседское общежитие – свое стыдно было. Хотя все, конечно, узнали. В общем, бюджет был такой: тридцать рублей степуха и тридцатка – за полы. Вполне ничего! Питались мы скромно: картошка, пельмени. Колбаска на праздник.

Все деньги шли на тряпье. Копили, кроили, ходили голодными... Но одевались! По крайней мере, старались идти в ногу со временем.

Жалкие были попытки и потуги, да. Но мы себе нравились – такие красотки!

В комнате нас было четверо: Надька Смолина, Зиночка Борщ, Залинка Курбаева и я.

Надька и Зиночка тоже приехали из села. Землячки, подружки. Друг друга всегда выручали и все на двоих. Деньги, одежда, обувь, еда. Правда, посылками из дома делились: сало на всех, картошка – туда же, в общий котел. А готовили на двоих: яичница, мясо, «жидкое» – так они называли первое.

Родители привозили им и мясо – по осени, когда резали поросят. Но холодильники у нас на кухне были старые, маленькие, вечно текущие. Хранить запасы там было немыслимо. Привезет родня мяса, девчонки нажарят, наедятся от пуза, а через пару дней отдадут в общак – чтоб не пропало. Вот тогда наедались и мы.

Залинка Курбаева была дагестанкой. И еще сиротой. Мать и отец погибли. Но родня ее не забывала – и денег присылали, и одежду. Бесчисленные тетки, дядьки, братья и сестры. Не принято у них родню забывать. Залинка была доброй, открытой – деньги всем, без разбору, легко давала в долг, а потом про него не напоминала. Конечно, этим пользовались – особенно некоторые нахалки. Еще она покупала на всех сладости и мороженое, пекла вкусные пироги. И красиво пела народные песни. Мне она нравилась, очень. Как человек нравилась. Но дружбы – той, о которой я так мечтала, – у нас с Залинкой не получилось.

Почему? Да потому что слишком мы были разные! Только ей я рассказала всю правду про свою жизнь – про бабу, про Тоньку, про Полину Сергеевну и Королеву. От других утаила – стыдно было рассказывать правду.

Но, ангел-Залинка мать мою не осудила. Только вздыхала: «Лидочка, ты ее не суди! Может, именно там, в Москве, она и нашла свое счастье!»

«Ну и дура ты, Залинка! – взрывалась я. – Счастье!.. Подумайте только! Надо же: искала и нашла! В чужом доме за мытьем унитазов! А родные люди ей по фигу? Ну какое тут счастье, в селе? На печи да в холодном сортире? Какое там счастье – с неграмотной бабкой и вечно сопливой дочкой? Да и хлевом несет, да под ногами коровий помет. И телевизор работает плохо. И картошку надо копать... А как иначе прожить? Как выжить в деревне? А что в городе? Чисто, красиво. Асфальт. Горячая вода из-под крана, теплый сортир. Апельсины все кушают. Конфеты «Цитрон». Кофий пьют растворимый. С пирожным «эклер»! И резиновые сапоги не нужны, и ватник не нужен. И пахнуть ты будешь не хлевом, а духами. И на руках маникюр! И кинотеатры на каждом углу. И театров навалом. Кафе! Что ей в деревне, Полине Сергеевне? Что она, дура?»

А забыть нас – мать и дочурку – ей оказалось проще простого! Раз – и нету! Как ветром сдуло! Так, иногда вспомнит и копеечку вышлет. Ну, чтобы совесть дальше спокойно спала.

А так мы ей... не нужны! Я это давно поняла. А баба Маня еще «давнее».

А уж Полина Сергеевна! Так та... Да что говорить?.. «Честная» женщина – даже вида не подавала!

Пошли вы все... Ну мы и «пошли»...

– Злая ты, Лида, – однажды сказала Залинка. – Зря ты так про нее!

А я обиделась, и мы раздружились.

Было хорошо, но трудно. Впрочем, к трудностям я привыкла и не боялась их. Считать копейки умею, жить на три рубля в неделю и почти не голодать – тоже. Спокойно проходить мимо пирожных, выставленных в витрине. Просто отворачиваться, и все, очень просто. И в кино на самый ранний сеанс в субботу. Поспать охота, а кино, говорят, шикарное. А ранний билет стоит десять копеек! Как пропустить? Чулки я штопать научилась так, что все общежитие стояло в очереди. И беретки вязать, и кепочки – тогда это было модно. Шерсть мы покупали у спекулянтов, и модная кепочка обходилась недорого. А сколько на нее нужно мохера? С козырьками только была проблемка! Но голь на выдумки, как известно!.. Пошла я в поликлинику, в рентген-кабинет. И выклянчила у лаборантки старые пленки. Вырезала из пленки козырьки и обвязывала их мохером. Кепочки мои шли по пять рубчиков – вместе с шерстью и козырьками. Чистой прибылью оставалось рубля полтора. А при жесткой экономии – и все два!

Но довольно скоро клиенты мои закончились – все девчонки щеголяли в мохеровых кепках. Что делать? Где взять рынок сбыта? Идти торговать на базар я стеснялась. А вот Зиночка с Надькой нет! Они привыкли к базару и ничего зазорного в этом не видели. Родители часто их брали с собой – продавать клубнику, помидоры, картошку. Взяли они мои кепочки и пошли на базар. Продали! За день – пять кепочек! Только себе попросили за труды... половину. Вот тут я удивилась. Девчонки жили сытно, всего вдоволь, всего хватало. А я... Все же видели! Надька так и сказала: дружба дружбой, а денежки врозь. Ну и поделила я свои копейки, куда деваться...

И пригласила Залинку в кафе. Очень хотелось мне с ней помириться! Снова мое одиночество. Выбрала самое знаменитое и известное в нашем городе. Кафе называлось «Улыбка». Оригинальностью названия никто удивлять и не

собирался – все точки общепита обозначали без фантазий: «Улыбка», «Светлячок», «Радуга», «Солнечное», «Радость», «У озера».

Кафе «Улыбка» находилось в самом центре, на площади. Вокруг – здание местного совета, райисполком, почта, центральный гастроном и, собственно, наша «Улыбка». Крутое место! Там собирались местные франты, золотая молодежь нашего города. Громко играла музыка – местный инструментальный ансамбль. Мы, девчонки из общаги, всегда чуть тормозили у двери кафе – непроизвольно. Ах, как хотелось нам зайти туда, сесть за столик, заказать шампанское и ждать, пока кто-нибудь из парней нас заметит и пригласит на медленный танец! А дальше... Дальше все закрутится, завертится и у нас случится любовь!

Мы нарядились – надели лучшие вещи. Накрасились и надушились. Надька с Зинойчкой смотрели на нас презрительно. Фыркали и шушукались. Им было завидно, а идти туда страшновато. Да и денег жалели – кул?чки.

У кафе мы остановились и посмотрели друг на друга. Залинка моя чуть не плакала.

– А может, не надо, Лидунь? Давай зайдём в булочную, купим торт и – домой? Страшно мне как-то...

Я взяла Залинку за руку и потащила к двери.

В кафе было полутемно, очень накурено, душно и невыносимо пахло вином и по?том. Оглушительно гремела музыка, и возле крошечной сценки толпились и жались к друг другу танцующие пары.

Нас усадили за столик в углу, и официант, молодой и прыщавый парень, смотрел на нас со снисходительной и наглой усмешкой. Я изучала меню. Залинка хватала меня за коленку и умоляла уйти.

Но я мужественно, хоть и дрожавшим голосом, заказала салат столичный, лангет из свинины и два бокала вина.

Плотная пелена сигаретного дыма мешала разглядывать посетителей. Одним махом мы – конечно, со страха – осушили бокалы с вином и закусили салатом.

Залинка моя была белее мела. И я еще заказала вина! После второго бокала она покраснелась и выдохнула. А когда нам принесли тарелки с горячим, к нашему столику подошел высокий и белобрысый парень в белой рубашке и джинсах.

«Джинсовый» парень пригласил меня танцевать.

От дыма, вина и духоты у меня сильно кружилась голова. «Джинсовый» крепко прижал меня к себе, и я закрыла глаза.

Я не танцевала – плыла. Плыла над землей, в голубых и светлых небесах, в прохладном и чистом потоке ветра, который обдувал мое горящее лицо. Я плыла над облаками, над нашим городом, темнеющим вдали. Я плыла над своими несчастьями, бедами, одиночеством.

Музыка кончилась, остановилась. А я... Я по-прежнему не открывала глаза и крепко держалась за плечи своего кавалера.

Очнулась от его тихого смеха:

– Ты что, заснула, красавица? Эй, просыпайся!

Я открыла глаза, чуть качнулась и посмотрела ему в глаза.

– Перебрала? – участливо спросил он. – Ну что ж, бывает. Тебе нужно на воздух, девочка!

– Я трезвая! – ответила я. – Просто...

Но слов для объяснения я не нашла. Потому что голова моя была светлой и абсолютно пустой. Звеняще пустой. А язык мой, неробкий и бойкий язык будто прилип к небу.

Парень кивнул, доставил меня до столика, где сидела перепуганная Залинка, и тут его окликнули.

«Джинсовый», не глядя на меня, бросил Залинке:

- Выведи ее! Ей плоховато...

И тут же рванул к своим друзьям – большой и шумной компании завсегдаев.

К горячему мы не притронулись. Залинка от страха, а я... Я сидела как пришибленная. Смотрела в одну точку, словно меня заколдовали.

- Пойдем домой! – умоляла меня подружка. – Лидуся! Давай уйдем, а?

Я кивнула. Мы позвали прыщавого официанта, рассчитались и пошли к выходу. У двери я обернулась – мой герой громко смеялся и обнимал тощую и томную блондинку.

Меня он не увидел. Я вздохнула и вышла на улицу.

В этот вечер я поняла, что влюбилась.

Тогда, в кафе «Улыбка», на втором курсе, я и познакомилась с Димкой.

То, что он Димка, узнала довольно быстро. Городок у нас маленький, все, как говорится, про всех...

Димка мой учился в ветеринарном техникуме, жил, как и я, в общежитии. Был он детдомовский, мой любимый Димка. Район, где находилось его общежитие, назывался Студилинка – раньше там была одноименная деревня. И считался этот райончик самым хулиганским и криминальным.

Ребят со Студилинки все боялись и обходили стороной. Я все время старалась попасться ему на глаза – нарезала круги перед ветеринаркой – так в народе называли его техникум, моталась по площади у кафе «Улыбка». И наконец он меня заметил. Окликнул, вроде бы вспомнил... И начался наш роман.

Мы ходили в кино, садились на последний ряд и целовались. Потом целовались в подъездах. В «Улыбку» Димка ходить запретил – там не место! – строго сказал он – для нормального человека. В смысле, девушки. Там снимают! Ты поняла?

А я, наивная дура, не поняла. Только кивнула – стыдно же было признаться, что не поняла.

Через три месяца наших шатаний Димка пригласил меня к себе в общагу.

Комнатка была нищей, убогой, но чистенькой, на две кровати. На столе стояли кастрюля с борщом и сковородка с котлетами. Мы пообедали и...

Уснули не скоро, под утро. Как провалились. А проснулись от стука в дверь – вернулся Димкин сосед.

Я перепугалась до смерти и смотрела на Димку: что же нам делать?

Димка махнул рукой и натянул свои джинсы. Да разберемся!

Я сидела ни жива ни мертва. Мне было стыдно.

Димка шептался с соседом за дверью, и я услышала слово «невеста».

А через полгода мы поженились. Ох, какая же я была счастливая тогда! Просто до одури!

Действительно – полная дура. Не понимала, что глупо ждать от жизни хорошего...

Но пока я счастливая! Он сирота, и я сирота. В общем, свадьбу справлять было не на что. Да и негде – на кафе денег не было совсем. Откуда у нас деньги? Ну, да ничего! Мы все равно были счастливые! Как я любила своего Димку! Господи, как...

Стол мы накрыли в общежитии. Готовить помогли девчонки. И комнатушку нам отдельную выделили – за три рубля в месяц сговорились с комендантшей Шурой.

Комнатушка была в семь метров и без окна – только форточка. Но мы и этому радовались как дети... Мы были вдвоем! Итак! Живем мы с Димкой в общежитии, и нам все нипочем. Мы – молодые. В комнатушке полуторная кровать, давно расшатанная нашими предшественниками. Журнальный столик – подарок девчонок – и стул числом один. Все! Холодильника нет, и зимой мы все хранили за окном. Но первый этаж, опасно: как-то увели у нас пачку пельменей – последнюю нашу надежду до самой стипендии. Поплакала я, погоревала, а потом стали мы с Димкой смеяться.

Я предлагала пройтись по общежитию и обнаружить преступника – по запаху и невымытой посуде. А Димка с удивлением посмотрел на меня и сказал:

– Ты что, Лид? Какая инспекция? Сожрали – и ладно! Да хрен с ними! И на здоровье!

Мне стало неловко, и я грубо бросила:

– На здоровье? Да уж нет, пусть подавятся! Может, еще пойти и пожелать им приятного аппетита? Молчишь? Ну и правильно! Помолчи! Пока будешь ждать картошки на ужин! Заметь – пустой и даже без масла.

– А я и не знал, что ты такая!.. – грустно ответил муж.

– Какая? – снова вскинулась я.

– Да злючая, вот какая! Пельмени она пожалела! – в сердцах бросил Димка и вышел из комнаты.

Не разговаривали мы тогда где-то с неделю. Я же упрямая – уперлась рогом как бык, и молчу. И Димка молчит. Потом помирились, конечно. Но именно тогда он пришел домой пару раз поддатый. Может, тогда все и началось?

Димка окончил техникум по специальности «ветеринария». Отличная специальность, хлебная! Животных он обожал. Мечтал работать в ветеринарной клинике с домашними питомцами – любимцами мужа были собаки. Попасты туда было непросто. Но Димка попал! Как же мы радовались тогда! Как были счастливы! Я тоже заканчивала последний курс. Мечтали по вечерам: я – в школе, преподаю в начальных классах. К детям особой нежности не испытываю, но думаю, что учителем буду хорошим. Почему? Да потому что строгая, на голову себе сесть не позволю. Ответственная, работоспособная. Неболтливая – жизнь меня уже хорошо поучила.

К тому же учителю всегда уважение. Учитель!.. Родители подарки несут на Восьмое марта и Новый год – духи и конфеты. Знакомства опять же. У кого-то папаша мясник, у кого-то хирург. У кого-то мамаша на молочном заводе, у кого-то работает в парикмахерской. Что ж, она будет брать деньги с учителя любимого чада? Но с мужем я это не обсуждала – неловко было.

Решили, что будем жить в режиме строжайшей экономии – чтобы снимать нормальную квартиру. Достало нас общежитие с крысами в коридоре и грязным сортиром. Снимем квартиру в хорошем доме, окнами во двор. На высоком этаже – не ниже восьмого. Одурели мы здесь на первом – двери хлопают, крики во дворе, летом помойкой воняет. Еще и продукты крадут...

Квартирку снимем чистенькую, светленькую. С холодильником и нормальной кроватью. Телевизор приобретем сами, на сэкономленные.

На питании экономить, конечно, будем, но и радости будем себе позволять! По субботам – в кафе: салат, шашлык и бутылка сухого. Кофе с мороженым. В кино будем бегать. А летом – на море! Как я мечтаю о море!.. Картинки в журналах смотрю и мечтаю! Димка тоже на море не был. Какое море в детдоме?..

– Дим, а после моря – в Питер, а? Ну, на следующий год?

– Конечно, Лидочка! – вздыхал он и чмокал меня в ухо.

– Щекотно! – ворчала я. – Ну? Ты не ответил!.. В Питер поедем?

– Спи, Лидка! Конечно, поедем! Денег подсоберем и – вперед!

И я засыпала. Такая счастливая...

Экзамены я сдала, диплом получила, и мы стали искать квартирку нашей мечты. И нашли! Правда, не сразу. И цену хозяйка назначила вполне вменяемую. В общем, ура! И там даже был телевизор. Ох, какие же мы были!.. Все расставляли, все намывали и отмывали. Все украшали – купили дешевую вазочку, новую скатерку на стол, новую лампу. А занавески я пошила сама – нашла в хозяйкином шкафу рулон цветного сатина и сшила. Муж меня, правда, очень ругал: как ты могла взять без спросу? А вот могла! Квартиру сдаешь? Деньги берешь? Так и окна изволь занавесить! От посторонних и любопытных глаз! Что, не права?

Димка вздохнул и промолчал. Только рукой махнул: «Тебя, Лида, не переспорить!..»

Он вообще часто мной был недоволен, мой муж. Критиковал: ты очень резкая, Лида. А женщина должна быть мягкой и кроткой! И мужу всегда уступать.

Ага, кроткой и мягкой! Да если б другая судьба... да если б меня любили... Да если б меня не бросили, как вшивого бродячего котенка или щенка... Да если бы меня не променяли на чужую тетку... И не могу я быть мягкой и кроткой – мне надо было выжить, Димочка! Не спиться, не скуриться, не унюхаться. Вылезти из своей помойной ямы и всем показать! А кое-кому – доказать.

– И ты, Димка... ты – главный человек в моей жизни! И тебе я всегда буду верна – что б ни случилось! Буду возле тебя, как верный и преданный пес! Потому что умею ценить. И любить.

Только ты, мой любимый... Не уговаривай меня, ладно? И не убеждай! Что надо с моей, так сказать, мамой помириться! Как я могу все забыть? Как я могу простить самое страшное на свете предательство? Как? Как я могу закрыть на это глаза и делать вид?.. Прости, не умею. Такая вот я дурная. Такая вот черствая. Такая тупая...

Димка молчал и вздыхал. И я понимала: не одобрял.

И все-таки жили мы счастливо. Я варила любимый Димкин борщ с кислой капустой, пекла пирожки. Сидела напротив и любовалась – ест мой любимый! Ест с аппетитом! Ох, вот ведь счастье!

Хвалил он меня: «Как же ты, Лидка, готовишь! Волшебница просто!»

И я была счастлива...

Еще Димка мечтал о собаке. А я собак особо не жаловала – мы, деревенские, к собакам относимся как к сторожам: побрешет – и ладно, значит, сгодились. Собака – она во дворе живет. Это закон.

Но мужу своему не перечила: хочешь собаку? Конечно, возьмем! И взяли ведь... Только пес наш оказался увечным – привез хозяин его в ветеринарку, услышал диагноз и сразу: «Не... Мне такого не надо!»

А Димка забрал – пожалел! Хромал наш бобик, гадил на пол. Трусливый был – видно, хозяин его хорошенько, сволочь такая, лупил. Звонок в дверь услышит – под стол! Я его не любила – брезговала. Не обижала, жалела, но... не любила. А Димка его обожал. Купал, причесывал, лечил по-всякому. И пес Димку обожал. А меня побаивался – чуял, наверное, что я к нему так... С брезгливостью.

В деревню я ездила редко – примерно раз в полгода. Просто глянуть – как там? А что там изменится? Да ничего. Дом стоит, как и стоял, молодежь разъезжалась по городам, в деревне куковали одни старики. Грусть-тоска, вот и все. Как приеду туда, дом открою, пробегусь по комнатам и – скорее обратно. В наш с Димкой рай. В тепло, на уютную кухню, где из крана льется горячая вода.

Осенью обрывала в нашем саду яблоки – привозила полный рюкзак. Димка любил яблочное варенье. Обирала кусты с малиной и черной смородиной – варила компоты. Вот только до меня, случалось, их хорошо чистили деревенские: я-то уехала, на что мне все это? Правда, хорошие люди давали гостинцы: свежие яйца, кочан капусты, баночку меда.

Уезжала я без грусти – даже наоборот. Скорее хотела обратно в город. Просто сбегала обратно.

Думала, что туда, в отчий дом, не вернусь никогда. И ни за что! Пытать будут, а не вернусь. Счастлива там я не была. Детство мое – это вечные слезы, тоска и обиды. «А дом надо продать», – думала я. Только Полина Сергеевна...

Соседи докладывали: она, моя Полина Сергеевна, пару раз приезжала. Недовольна была, что доча слиняла: «Ах, как же так!.. Ах, Лидка! Мерзавка! Бросила дом, огород! Все запустила!..»

Дом я бросила, а? Каково? А то что она дочь малую бросила на произвол? Это как? Сначала баба Маня – ну, это ладно. Еще ничего. А потом – тетя Тоня. Почти чужой и больной человек. С ней я намучилась – мама дорогая! Вспоминать не хочу!

Да! Письмо мне оставила, у соседки.

В письме одно недовольство: «Лидка! Как ты могла! Уехать и мне ничего не сказать? Я же твоя мать! А ты так со мной! Ни адреса, ни письма! Я думала, ты после учебы вернешься! Будешь работать в поселке...»

Ну и так далее. Неинтересно...

Дом ее беспокоил больше, чем я.

К тому же врет! Адрес общаги я оставляла. И адрес училища тоже – на столе, в комнате. Придавила сахарницей, чтоб не пропала записка. Я там-то и там – написала.

Ну все понятно ведь: хочешь – пиши, хочешь – пришли телеграмму. Хочешь – денег отправь. А хочешь дочь навестить – милости просим!

Не захотела.

Устроилась я в среднюю школу около дома. Коллектив, кстати, был неплохой – если учесть, что сплошь бабский. Директриса была вменяемая и сплетен не переносила. Вот и шушукались все по углам – так, чтобы тихо. Особо не возбуждали. Да и молодежи было достаточно – древних бабок мы «загасили». И Димка был счастлив: работа была ему в радость. О ребеночке мы не говорили – понимали, что рано. Надо встать на ноги. Да! Еще мы встали в очередь на квартиру! Поставили меня – как молодого специалиста в области образования.

Все у нас складывалось. И тогда мне стало казаться, что горести свои я уже отхлебала. Каждому ведь достается и счастье, и горе. Так вот, я дерьмо свое съела, сполна! Хватит, по-моему?

В общем, жили мы – не тужили. И еще – мы мечтали! Например, съездить в Питер. Листали какие-то справочники, библиотечные книжки – про питерские музеи, архитектуру, набережные. И строили планы. Ах, как это сладко – строить планы с любимым!

Нет, цапались, конечно! Я ж язва еще та... А Димка не вредный, просто злобных моих выпадов не переносил. По любому адресу – и про Полину Сергеевну, и про Королевишну, и про моих коллег-учительниц...

Про коллег моих говорил:

– Слушай, Лид! А ты что, безгрешна? У тебя что, нет недостатков? Зло ты о них говоришь, о тетках твоих. А о Маше – особенно. А Маша ведь тебя выручает!

Маша эта... Про нее будет ниже. Тоже из «несчастненьких» – вроде меня. Только я жалостливо глазками не хлопаю и могу за себя постоять. А Маша... Она так сразу в слезы – если ученик нахамит, завуч замечание сделает, родительница какая-нибудь выступит. Не Маша – фиалка нежная.

Мы очень похожи были с этой Машей. Вернее, не мы, а наши судьбы. Нас обеих бросили матери. Ну, про мою все понятно, а Машкина мать свалила на Север, деньгу заколачивать. А там судьбу женскую устроила, папашу выкинула за дверь и сошлась с каким-то дядькой. А дядьке чужие дети были совсем не нужны. И про Машу он посоветовал мамаше забыть. Ну, она и забыла. А папаша Машкин вернулся. Но начал пить. Пить и буяннить, да Машкину мать проклинать. А Машка внешне – как две капли воды мамаша. Вот папаша и злобился: мат-

перемат, ах ты, тра-ля-ля!.. Такая же шлюха, как та!

Бил Машку, все из дома тащил. А потом его Кондратий хватил, и папаша «прилег». Все отнялось – руки, ноги. Только язык поганый функционировал. И Машку, выносящую за ним говно, он также гнобил.

В общем, два года Машка промучилась. А как мучитель помер, так она освободилась. И квартира освободилась – большая, двухкомнатная. Окна на речку.

Машку я презирала за ее тихий нрав. За ее слезы и мягкость характера. Уж как жизнь над ней измывалась! А она так тухой и тетехой осталась – просто смешно.

Вот я и злилась на нее, и уговаривала ее не быть самой доброй. Не страдать за всех. Не расстраиваться и любить не всех подряд...

– Слышишь, а? – наставляла я.

– А как это? – удивлялась Машка-тетеха. – И детей, что ли?

– Господи! Да этих... в первую очередь! Уж в детках жестокости и дерьма...

– А как учить доброму и светлому, если ты их ненавидишь? – Машка впивалась в меня своими прозрачными голубыми глазами.

– А ты учи, ради бога! – усмехалась я. – Только сердце в это не вкладывай! Душу прикрой, поняла? Чтобы без щелочки!

– Не вкладывать душу? – Машка сопела и растерянно качала головой. – Нет, так добру и хорошему их не научишь! Они же все чувствуют, дети!

И глаза ее светлели от такого радостного открытия. Что скажешь? Дура...

Я часто думала тогда, что Машку ждут большие неприятности. С таким вот жизненным подходом. А вышло так, что я ошибалась...

Вообще мне казалось тогда, что я все понимаю про эту жизнь. А оказалось...

Как во многом я ошибалась!.. Как многого не понимала. Какого была высокого мнения о себе. Нет, не так. Конечно, не так! Какое там высокое мнение! Я – брошенный бобик. Дворняжка с ободранным хвостом и клоками шерсти на впалых боках, знающих плетку. Я думала, что меня уже ничто не возмутит, ничто сильно не обидит, ничто не сможет глубоко, до самого сердца, задеть. Я так закалилась, что могу ловко отбить любой пасс, посланный злодейкой-судьбой. Отбить и не расстроиться.

И здесь я ошибалась.

И про Королевишну... Димка тоже меня прерывал.

– А при чем тут она? Нет, ты объясни мне – при чем? – допытывался муж. – Она-то в чем виновата? В том, что твоя Полина Сергеевна одурела от счастья жить вблизи и служить? Она наверняка про тебя и не знает, Лида! Вообще не знает, что ты живешь на белом свете!

– Да нет, – усмехалась я, – все она знает. И что мать оставила меня. И что баба умерла. И что я... Да ладно! Да потому, что приличная женщина спросит у матери, как та смогла оставить ребенка. И засомневается в порядочности своей прислуги.

Глупости. Конечно, глупости! Почему Королевишну должна интересовать порядочность прислуги именно в этом смысле? Ей нужно, чтобы ей вовремя подносили свежий чай. Хорошо гладили платья. Чисто убирались в квартире. Не мечтали прилечь с ее мужем. Да! И еще не воровали ее украшения.

А в этом, я думаю – да нет, я уверена! – Королевишна была абсолютно спокойна. Да чтоб Полина Сергеевна? Да никогда!

Эта любовь, эта преданность и эта страсть были такими искренними, такими глубокими и мощными, что Полина Сергеевна ни за что бы, ни за какие коврижки!

И про Полину Сергеевну Димка обрывал меня сразу:

- Она твоя мать! И разговор кончен!..

- Да? А почему это? - от злости у меня суживались глаза. - Мать... И что? Она неподсудна? Про нее - как про покойника, что ли? Или хорошо или никак? А почему? Почему это? Нет, ты объясни! - закипала я как чайник. - Значит, если сподобилась на такой вот «подвиг былинный» - ребеночка родила - и все? Жизненную программу, так сказать, отработала? Больше никому и ничего не должна? А ребеночка воспитать?..

Димка молчал и хмурился - понимал, чем дело окончится. Ясно, что скандалом.

- Значит, - продолжала я, - вот рожу я ребеночка, сдам его в детский дом - и... все равно останусь святой?

- Она тебя в детский дом не сдавала! - буркал Димка.

И я заводилась еще сильнее:

- Ах, скажите пожалуйста! Просто мать Тереза! Просто святая! Не сдала! Сколько в ней благородства, в Полине Сергеевне! Прямо нимб над головой сияет! А я, деревенщина, и не заметила, как над затылком у Поли горит. Знаешь, Дим... - я умолкала, - а ведь было бы лучше, чтобы она меня туда сдала! С самого детства, слышишь? Вроде нет у меня мамки, и все! Как у всех, понимаешь? Сирота и есть сирота! Так нет ведь - бросила, умотала, а статус свой сохранила! Вот еще и на старости лет заявится. И алименты, а? Вот будет весело! Явится - больная и старая - и скажет: доча! приехала я! доживать... в отчий дом. А ты, доча, ухаживать будешь. И содержать - я ж тебе мама родная!..

Как в воду глядела... Через три года объявилась Полина Сергеевна. А тема была еще интересней - Полина Сергеевна приехала умирать.

Потому что была смертельно больна.

Надо же! Сразу нашла, как я понадобилась! Пришла к школе и вызвала.

Ну я и вышла. И обалдела: не узнать было Полину Сергеевну! Совсем не узнать! Высохла вся, почернела... Стоит передо мной глубокая старуха – серая и тощая. Руки дрожат. Губы трясутся: доченька, доченька моя! Лида!

Ого! Тут я и доченькой стала! С чего бы?..

Молчу, смотрю на нее исподлобья, и сердце стучит: неспроста! Неспроста заявила Полина Сергеевна! И «дочкает» неспроста – что-то случилось! Выгнали, может? Старая стала прислуга, неловкая? Лакеев ведь списывают, когда они... Ну все понятно.

А она меня за руки хватает и все причитает:

– Лидочка, Лида!

Но сердце мое хоть и билось тревожно, но масштаба всей катастрофы не представляло! А вот когда до меня дошло...

А она все бормотала:

– Беда, Лидочка! Большая беда! Такое со мной приключилось! Ох, доченька...

И давай реветь.

И тут я все поняла. И мне стало плохо.

Просто осела – там, где стояла. На бетонный парапет у школьного крыльца.

– Чтоо-о? – только и произнесла. И тут же застыла. Вернее, горло мое заоченело – слова не могу произнести.

А мама моя, дорогая Полина Сергеевна, стала меня за душу щипать:

– Больна я, дочка! Болезнь у меня ужасная, страшная... Операцию сделали, химию тоже, но... Не помогает! Вот, загибаюсь! Посмотри на меня, – и теребит меня за руку, – ну, посмотри! Ох, сколько мы бились! Сколько старались! Я

ведь... так хочу жить, Лида! Так жить хочется, доченька!

А я сижу, глаза в землю. Мотаю головой:

- Да вижу я, вижу! Не слепая...

А сама думаю - не о ее смертельной болезни, а о том, что столько раз слово «доченька» я за всю свою жизнь и не слышала...

В общем, заболела мамаша моя, и заболела смертельно. Врачи давали ей год от силы, не больше. Ну и все понятно - приехала она на малую родину помирать. Чтобы успокоиться, так сказать, в родной земле. И лечь в родные могилы.

Потом, правда, вырвалось у нее:

- Я сама, Лида! Верись - сама. Она не хотела... меня отправлять. Ты плохо про нее не думай, дочка!

И все щебечет:

- Она мне во всем помогла! Все сделала, Лида! И в больницу устроила! В самую лучшую. И водитель ее мне продукты возил - фрукты, овощи. И после больницы мне разрешили у них, понимаешь? В смысле, побыть, отлежаться! Все сделала, да! Но и у нее у самой большое горе - скончался хозяин, супруг. Скоропостижно. Она замучилась с нами, бедная! А тут еще я... Ох, ей и досталось! Схуднула, есть совсем перестала. А ведь и так - словно птичка божья! В смысле, ест, как воробей.

- Опять о ней! Опять о любимой! Ты хоть бы раз спросила у бабы: что ем я, твоя дочь? Что люблю, например! Так нет же, зачем? Она Королеву жалеет! Не себя, раковую больную, а ее! Здоровую лошадь! И за нее тревожится... Не себя, которая одной ногой в могиле, а за нее! Ест она плохо!.. Схуднула! Сбледнула! Сон потеряла - ах, ох!..

И так мне противно стало... Затошнило просто.

- Выперли тебя, - говорю, - ну, все понятно!

– Что ты, что ты! Как можно! Я только сама! Чтобы ее не обременять. Какая из меня нынче помощница? Сама еле ползаю, сил совсем нет... Оставила ее совсем одну, представляешь? Одну-одинешеньку, на всем белом свете. Никого у нее, бедной, нет – ни деток, ни мужа. А теперь вот и меня...

И в слезы.

А я снова молчу.

А потом говорю:

– Ага! А сюда, значит... помирать приехала? Тебе ж повезло – у тебя дочка есть! К ней и под крыло? Горшок, компот, простыни ссанные? Так или нет, Полина Сергеевна?

Стоит, моргает глазенками. Растерялась. Молчит.

– Лида! Дочка! А куда же мне?..

– Куда-а? Ты меня сейчас спрашиваешь? Советуешься? А почему раньше?.. Почему никогда раньше не спрашивала? Куда тебе? Конечно, сюда! Здесь же я, твоя дочь! Вспомнила, значит? Время пришло? Все правильно: кто будет ухаживать? Горшок за тобой кто будет носить? Дочка Лида? Ага! А что ж ты к маме своей, Марии Петровне, к бабе Мане тогда не примчалась? Когда та слегла и не вставала? К дочке своей, сироте? Когда та в четырнадцать лет осталась как перст? А подсунула ей дряхлую Тоньку? Чтобы дочка твоя еще и за Тонькой ходила?

Молчит, глаза долу. А я распалюсь! Ору пуще прежнего. А в школе закончился уже пятый урок – дети горохом высыпали во двор. Стоят и слушают, как училка их разоряется. На какую-то дохлую бабку орет.

А мне хоть бы хны – ору и ору! Всю душу свою – наружу. И на всех наплевать!

– Нет, дорогая! Не выйдет! Не выйдет тебе еще раз! Катком по мне... Не пройдешь! У меня своя жизнь! Ясно? В первый раз в жизни! В первый раз в жизни по-человечески! А тут нате – явилась! Вот и вали в свою хату! И там

колупайся! Как я в своем детстве «счастливым»! Привет!

Закивала, глазками моргает:

- Да-да, Лида! Да, да! Ты права, я все понимаю!.. Все заслужила! Прости!

И со двора.

Ну и хрен с тобой, Полина Сергеевна! Вот и гудбай! Постояла я еще, чтобы дрожь в ногах унять, и медленно пошла в школу.

Дети проводили меня удивленными взглядами, молча.

А мне было на всех наплевать. На всех!

Просто подумала: а вот это – за что еще одно испытание? Когда у меня наконец все наладилось? Когда мы уже о ребенке мечтали? Когда у меня с Димкой...

Нет, мне на всех наплевать – на школу, на мамашу, на весь этот сраный мир!

Только не на мою с мужем общую жизнь. Ее я решила отстаивать твердо! Насмерть стоять! И никому – слышите вы? – никому! Никому не позволю! Ясно всем? Ни-ко-му!

А ночью... Конечно же, я не спала. Я ведь живой человек. Не Полина Сергеевна.

Стояла эта рахитка, калека эта у меня перед глазами. В ушах звенит: «доченька, Лида!»

Жалкая, страшная. Руки трясутся, морда серая, глаза неживые...

И по ночам спать перестала – ворочаюсь все, маюсь, вздыхаю.

Димка проснется и смотрит:

- Ну? Ты чего, Лид? Что-то болит?

Выжимаю улыбку:

- Да все нормально! Так, просто устала. Детишки достали. Это тебе не собаки - твякнут и ладно. Эти похуже, - и давлю из себя улыбку.

Димка смотрит на меня удивленно:

- А ты что думаешь, мне больную собаку не жалко? Или кота? Когда глаза полны боли и плачут, как люди? И скулят, жалуются? А сказать не могут. Это еще тяжелей. Странно, что ты думаешь, будто мне все это легко... - удивляется он. - И какой бы я был после этого врач?

Димка вздыхает, качает головой, отворачивается и засыпает. Ему-то что? Его совесть не жжет.

А меня, значит, жжет? Мучает совесть? Нет, я не согласна! Неправильно это. Нечестно. Совесть моя не должна болеть за Полину Сергеевну. Не должна! Потому что все справедливо и правильно - час расплаты настал. Как говорится, время раскидывать камни и время собирать. Вот и собирайте, Полина Сергеевна! Милости просим, моя дорогая мамаша!

Уговариваю себя, убаюкиваю. А спать не могу. Утром встаю как с перепоя. На работе как сонная муха - зеваю и тру глаза. На ногах стоять тяжело - все время присаживаюсь.

Детям, конечно же, по фиг, а вот коллеги недоумевают:

- Лидия Андреевна! - Это завуч. - Что с вами, милая? Не заболели ли часом? Какие проблемы? Давайте, все вместе! Мы ж коллектив! Мы вам поможем!

Ага, коллектив! Помогут они. А мне и рассказывать стыдно. И не нужна мне ничья помощь. Сама разберусь.

На всем этом свете мне нужно одно - мой муж Димка и наша семья! Все. Мне достаточно. Ох, если б уехать с ним на необитаемый остров! И никого из вас,

«родные» мои и не очень близкие, не слышать, не видеть и не вспоминать.

Забуть бы вас всех – как отрезать! Сделать лоботомию, как в фильме одном.

И жить как по-новому, с белого и чистого листа – я и мой Димка, мой муж.

И никакая я не совестливая и не благородная! И страдаю я не от жалости, а от того, что эта сунулась в мою жизнь.

От несправедливости я этой маюсь. И злюсь от нее же! И расстраиваюсь, что приездом своим она мне нагадит. А другого я от нее и не жду.

И вот же черт меня дернул Димке все рассказать. Идиотка! Словно бес тянул за язык. Начала с подхихикиванием – типа:

– ...Дим, вот ведь дрянь! Поддержки она захотела!

А он как взбесился:

– Ты что, на серьезе? Приехала мать и сильно болеет? Лежит там одна? Ты одурела? Не ожидал я такого... – и мотает башкой. – Она там, а ты здесь, Лида?

Возмущенно мотает. А я – в оправдание:

– Дим! Ты чего? Ты не в курсе моих обид? Моего инвалидского детства? Ты что, заболел?

– Нет, Лида! Это ты заболела! Это же мать! Мама твоя! И ей сейчас плохо. Да как же ты можешь считаться, а, Лид? У тебя что, совсем сердца нет?

Такой вот «поддержки» в кавычках я вовсе не ожидала. И я испугалась... Аж дрожь пробила. Димка мой сейчас меня разлюбит! Разочаруется во мне, бросит меня! Будет считать жестокосердной! Дрянью будет считать...

Не подумала я, что носит он в сердце священный образ своей мамы. Жалеет ее, вспоминает. Оправдывает. Считает несчастной, ни в чем не повинной. Это у них, у детдомовских, часто бывает.

Вот тут я просчиталась: у всех интернатских мать – это святое. Даже самая жуткая и непотребная. Алкоголичка, бомжиха, воровка, наркоманка...

Дуется как мышь на крупу, в мою сторону не смотрит. Ох, я и запсиховала! Ох, испугалась! И давай к нему ластиться:

– Дим, ну? Ну что ты так? Я же не знала, что ты так воспримешь! Боялась, что скажешь «на черта она нам нужна, стерва такая?». А я бы – по-тихому, Дим! Моталась бы к ней, а ты бы и не знал!

– Да? – усмехнулся. – А что ж не смоталась? До сегодняшнего дня? Времени не было? Я осужу, говоришь? А за что? За то, что моя жена – человек? За то, что простила великодушно маму свою?..

Надел куртку и вышел из дому.

А я... Я села на табуретку и реву в три ручья:

– Димочка, Димка! Ты только вернись! Я все буду делать! Ты слышишь? И к этой... поеду! Горшки за ней буду таскать! Пеленки стирать! Только ты возвращайся! Димка, любимый! Ты только меня не бросай! А я – я исправлюсь! Я все сделаю, Димка! Чтобы ты мной гордился. Не разочарую тебя.

Все для этой стервы сделаю, все! Пусть от злобы давиться буду, а все сделаю.

Потому что жизни без тебя не мыслю. Потому что ты для меня – это все! Потому что кроме тебя, Дим...

Ну ты понимаешь...

Только я тебе этого никогда не скажу... Потому что стыдно. Стыдно так любить и так прогибаться. Стыдно так бояться и так мандражировать. Стыдно обнаружить свои слабости.

Я ведь сильная – да, Дим? Я ведь смелая, да?

А все то, чего я до смерти боюсь... никто не узнает. Даже ты, мой любимый.

И я потащила в деревню. Димка предлагал поехать вместе. Я отказалась, подумала: вдруг не сдержусь и отношение свое к Полине Сергеевне продемонстрирую? А ведь точно не сдержусь и продемонстрирую – я себя знаю!

А при нем буду с ней терпима и ласкова. И Полина Сергеевна моя сначала обалдеет, а потом быстренько привыкнет. Знаю я ее наглую сущность.

В общем, поехала я одна. Еду, а на душе так погано, словно кошки нагадили.

Мысли всякие: а вдруг?.. Тогда Димка меня никогда не простит. Вот чего я боюсь, понятно?

Да нет, жива она, все понятно. Дурные вести быстро доходят – сообщили бы.

А если лежит и не встает? Попить поднести некому? Помирает от жажды и голода? «Ой, да ладно, Лида, – успокаиваю себя, – такие как эта... В общем, их так просто не изведешь».

Но на душе гадко, что и говорить. Тухло просто на сердце. И такая тоска... Словно я поняла тогда, в тот день, что сломает Полина Сергеевна мне в очередной раз мою жизнь. Перекорежит.

Вышла я из автобуса и плетусь по тропинке к нашему дому. Навстречу соседка, Таня Пронина. Неплохая баба, не самая зловердная.

Орет:

– Лидка, ты?

– А что, я так сильно изменилась за пару лет? Уже и не узнать?..

Танька хмыкает:

– Раздалась!

– На себя посмотри! – отвечаю я. – Башня водонапорная!

Танька всегда была высокой и толстой, ей не привыкать. А я всегда была тощей. Меня даже ребята дразнили «селедкой».

– А чего давно не была?

Я хожу быстро, Танька бежит сбоку, подстраиваясь под меня. Дышит тяжело, как паровоз.

Наконец я останавливаюсь – сама притомилась.

Танька облегченно вздыхает и плюхается на траву.

– Уморила ты меня, Лидка! А я ведь опять тяжелая! – радостно сообщает она и смеется, утирая с курносого носа пот.

Я качаю головой – осуждаю. Танькин муж, Витька Пронин, пьет как сапожник. И жену поколачивает. А эта дура рождает четвертого! Совсем сбрендила...

Ладно, не мое дело. А вот чего я долго не приезжала – не ее.

– Некогда было, – буркнула я, – да и незачем! Что мне тут? Какой интерес? Я в городе живу.

– Ага, городская! – хихикает Танька. – И как? Прижилась?

Я гордо фыркаю и иду дальше.

– К мамане приехала? – кричит мне вслед Танька. – Ну, наконец-то! А то мы думали, что ты совсем...

- Что? - Я останавливаюсь и тихо задаю свой вопрос: - Что думали, умники?

Танька краснеет и смущенно фыркает:

- Да так, ничего...

И отводит глаза. В поселке все знают нашу историю. Все осуждали Полину Сергеевну. Все жалели меня и бабу. А вот что будет сейчас - не знаю. Народ у нас переменчив на мнения и очень жалостлив. И еще - очень любит посудачить и осудить. Просто хлебом не корми, а дай осудить.

Но не на ту напали! И это все знают.

Иду по улице и краем глаза вижу, как наши все из окон поывываливались. Наши все - это останки. Останки деревни, которой нет. Или почти нет. Молодежь вся свалила в города, старики понемножку умирали и площади освобождали. Часть домов стояли уже заколоченными - это если родня сделать успела. А у кого-то родни не было, и после похорон - за счет собеса и добрых соседей - дома остались доживать свою долгую жизнь: входные двери в сени были распахнуты, сараи завалены, огороды позаросли крапивой и борщевиком. Кое-где были выбиты окна, сползали толевые крыши. А крыши, покрытые шифером, были разграблены добрыми соседями: пластины шифера снимали, чтоб подлатать свои. Бесцеремонный у нас народ - берет, что плохо лежит.

В нескольких дворах жизнь еще теплилась - век свой доживали старухи и редкие старики, чьи-то дети или родня использовали опустевшие дома под дачи, а где-то еще оставалась и молодежь - например, такие, как Пронины.

Витька Пронин, Танькин муж, в город ехать отказывался. «Деревню люблю!» - объяснял он.

А на самом деле ехать в город Витька Пронин банально боялся - там надо было вкалывать, платить за общежитие, за детский сад. Покупать приличные вещи. В деревне детей не одевали: трусы и майки летом, осенью - резиновые галоши, перешитые куртки из взрослых ватников и старых пальто. Рукавицы, носки, шарфы и шапки - вязали сами. Шерсти было навалом - бабки чесали коз, овец и лохматых собак. В домах обязательно стояли прялки - черные от времени, блестящие от упорных и терпеливых женских рук. Стояли они прямо у окон -

чтобы старые глаза хоть чего-то увидели.

Прялка была и у моей бабы. А после ее смерти я унесла ее на чердак. Помню, как Полина Сергеевна внимательно, словно видела в первый раз, рассматривала ее. Потрогала даже.

Я молча наблюдала за ней. Полина Сергеевна вздохнула и приподняла прялку правой рукой – попробовала на вес.

Но тяжело вздохнула и прялку отставила.

– На кой она тебе? – удивилась я.

Полина Сергеевна покраснела и смутилась:

– Да нет, не возьму! Тащить тяжело. А это модно сейчас, Лидка! В московской квартире поставить старую прялку. А еще лучше – на даче! Для интерьеру!

Я вздрогнула:

– Прялку я тебе не отдам! – крикнула я. – «Для интерьеру»!.. Чтобы вы там посмеивались и притворно умилялись: ах, красота! Ах, старина! И как это в прежние времена?

Это для них умиление! А для бабы была жизнь. Баба спрядет нитки, и в ноябре начинает меня обвязывать – новые носки, рукавицы, жилетки, кофточки.

Я сидела возле нее и смотрела, будто замороженная, как мелькают блестящие спицы в заскорузлых, кривых, раздутых, темных и любимых ладонях.

И мы с бабой тихо переговаривались. А потом она начинала гнать меня спать. А я все канючила: ну, баб! Еще полчаса!..

И через десять минут засыпала, прямо на табуретке, положив голову к бабе на колено.

А она, вздыхая, относила меня в кровать.

Все бабины «вязалки», любовно украшенные полосками разноцветных ниток, смешными и наивными узорами, плохо вывязанными (руки уже дрожали, и зрение падало) бантиками и божьими коровками, я снесла в чулан. Больно было смотреть. А когда решила их вытащить, то увидела, как сильно их погрызли и обгадили мыши. Как же тогда я ревела! Корила себя, что не сохранила, не сберегла память о бабе.

Впрочем, память о ней всегда жила в моем сердце. Единственный человек, который любил меня. Единственный человек, кому я была нужна и кто обо мне заботился.

Недалеко от своего дома я притормозила – села на скамеечку, на завалинку, где раньше собирались на вечерние посиделки старухи, и закурила.

Курить я начала в училище – все девчонки смолили на переменах и в общежитии. А позже Димка курить мне запретил: «Кого ты мне родишь, Лида? Уродца с заячьей губой?»

При Димке я не курила. А вот оставшись одна – да, бывало. Стыдно было... Ведь слово ему давала. Ну да ладно. Что говорить... Когда в душе чернота... Это немножко спасало. Или мне так казалось – не знаю. Но пачку сигарет я носила в сумке всегда. То детишки мои, ученички, доконают. То начальство разнервирует. То какая-нибудь мамашка поскандалит и кровушки напьется.

Я закурила и огляделась по сторонам. Начало июня, жарко. У палисадников облака сирени – белой, розовой, темно-сиреневой. А пахнет как!.. Детством моим. Раньше я любила начало лета, когда все просыпается, все оживает. По пыльной дороге летит тополиный пух – вьется, кружится, клубится, где-то сбивается в кучки и издали походит на снег.

Жужжит толстый шмель, пристраиваясь на бледно-розовую, ломкую кисть иван-чая.

Тишина и благодать. Вспоминаю, как уходила в жару на сеновал – подремать. Как бы готовиться к школьным экзаменам. Наберу с собой учебников, сушек похрустеть и кружку домашнего кваса – белого, кислого, мутного. У бабы он получался отменно. У нее даже в схоронках хранился древний, засохший изюм – она бросала его в бидон с квасом. Сморщенный, почти черный и мелкий изюм в квасе разбухал, увеличивался в несколько раз, становился гладким и налитым. Я любила вылавливать его пальцами и сосать, как конфету.

На сеновале было душно. В узенькое оконце пробивались солнечные лучи, и многолетняя пыль кружилась на солнце, как крошечные, сказочные балерины в медленном танце.

Учить параграфы было неохота. Я потихоньку отхлебывала из алюминиевой помятой кружки квас и закрывала глаза.

О чем я мечтала? Об этом я не сказала бы никому. Даже бабе. Это было только мое, сокровенное. Самое главное и стыдное.

Я мечтала о... маме. Нет, не о Полине Сергеевне! Она и это чудесное слово никогда не вставляли рядом. Я придумала себе ужасно дурацкую и нелепую историю. И в ней Полина Сергеевна не была моей матерью. Моей настоящей, кровной матерью была... Совсем другая женщина.

Двоюродная сестра Полины Сергеевны – Аня, Анюта.

Анино фото (в отличие от фотографии Полины Сергеевны) висело у нас на стене. Аня была дочерью бабиного брата Ивана, погибшего в сорок четвертом. Бабиного любимого младшего брата.

Анечка была красавицей – высокой, тоненькой, синеглазой. С длинной, до пояса, пшеничной косой. Аня была смешливой. Певуньей была. Аню обожали все деревенские – бабы, старики, дети.

Но была она сердечницей – баба рассказывала, что иногда Анечка бледнела, опухала и даже падала в обморок. Лечиться она не хотела. «Сколько дадено, столько и проживу!» – говорила она.

Замуж не собиралась – кому нужна больная жена? Потратит жених деньги на свадьбу и... Через полгода я околуюсь? И детей мне рожать нельзя – все ж это знают!

Все знали, а все равно к Анечке сватались. А она всем отказывала.

Однажды баба сказала, что короткий роман у Анечки все-таки был. С каким-то партийным начальником. Приехал тот с проверкой или с комиссией и влюбился в нашу девочку не на шутку.

Любились они – так говорила баба – всего-то пару недель. Важный начальник задержался в инспекциях по близлежащим селам и каждый вечер возвращался к зазнобе. А потом уехал – звали дела и семья. Семье его, кстати, незамедлительно капнули, и оскорбленная женушка раздула страшный скандал, объявив, что шлюху эту со света сживет.

Начальник, в глубокой печали и тревоге за любимую, поехал к ней и посоветовал уехать подальше – хотя бы на время.

Анечка уезжать отказывалась, мотала головой и говорила, что ревнивой жены не боится.

И тогда, видя, что этим ее не проймешь, начальник соврал: дескать, а давай убежим вместе? Ну, сначала уедешь ты, а потом подъеду и я. Как в песне поется: «И чтоб никто не догадался...»

Наивная Аня поверила. От счастья заплакала хрустальными и чистыми слезами и дала возлюбленному согласие.

И еще – ну, раз уж так вышло! – призналась ему в своей беременности.

Тот совсем было пал духом, но Анечка не расстроилась – все складывалось на редкость удачно.

Быстро собравшись, через пару дней она уехала. Денег он ей дал и договорились, что как только сможет – главное, кстати, не семья, а парторганизация! – он сразу же телеграфирует ей на главпочтамт городка К.,

выбранного ими для счастливого проживания. Ну и наступит их счастье.

Дальше все было странно: начальник так и не развелся, никуда не уехал и жил себе прежней, знакомой и размеренной жизнью.

А девочка наша просто пропала: что с ней случилось – никто не узнал. Ни ответа, ни привета. Уехал человек и пропал навсегда. Вот как бывает...

И в розыск подавали, и к начальнику в город ездили. Но он ходяков не принял – дескать, дел много. А когда его подкараулили на улице, у блестящей черной машины, он отшатнулся как от прокаженного больного и прошептал белыми губами: какая Анна Ивановна? Не знаю такой!

Вот я и придумала себе историю: дескать, я – дочка Анечки и того партийного босса. Родила меня Анечка и тайком привезла в родную деревню. Почему? Да понятно: как поднять одной ребеночка? Да еще и в незнакомом месте! А ехать домой было стыдно – позор все-таки. Позор и обман.

Так вот, привезла меня мамочка бабе Мане и – в путь. Потому что там, в Сибири, у нее сложилась большая карьера – стала наша Анечка... Например, главврачом!

Тут я вздыхала. Потому что хотелось мне придумать самую важную для Анечки должность. Да вот понимала я в этом не много.

А сестра Полина замужем и бездетная. Вот и записали ребеночка на нее – с ее же согласия.

От этих мыслей мне становилось так хорошо и счастливо, что я засыпала.

И не понимала я, что этими своими фантазиями я... Подспудно пытаюсь оправдать Полину Сергеевну – дескать, не кровная дочь, и тогда ее нелюбовь всем понятна.

Так мне было определенно легче.

А что стало с Анечкой – мы так и не узнали. Жива ли она? Наверное, нет...

Наконец я подхожу к своему дому. Калитка раскрыта и болтается на нижней петле. Я машинально приподнимаю ее и надеваю на верхнюю петлю.

Дверь в сени тоже открыта. Я захожу. В сенях стоят черные резиновые сапоги с комьями налипшей глины. Баба учила меня мыть сапоги сразу – пока грязь не превратится в цемент. Глина у нас в деревне злая, застынет – молотком не отобьешь.

Я открываю дверь в комнату и слышу, как громко работает радио. Оттуда несутся дикие звуки безумного рэпа – как колотушкой по голове: бум! бум! бум!..

Я зажмуриваюсь и вхожу. Окна раскрыты и под потолком вьется стайка мелких назойливых мушек.

Баба Маня всегда с ними боролась – вешала клейкую ленту, ставила ловушки с сахарной водой.

Полина Сергеевна лежит на бабином диванчике и храпит.

На ней бабина ночная рубашка – голубая, в синих букетиках.

Возле диванчика ссаное ведро – полное наполовину. Естественно, запах.

Я хватаю ведро и тащу его на крыльцо.

Когда возвращаюсь, она уже сидит на диване и хлопает глазами.

– Ой! – удивляется она. – Ты приехала, Лидочка?

Я не отвечаю – злюсь.

– Чего ссанье не выносишь? Не задохнулась еще?

Она всхлипывает и оправдывается. Бормочет, что нету сил.

– Иногда заходит соседка, Нина Разводова, приносит молоко и хлеб и заодно выносит горшок.

Я молчу и разбираю рюкзак – хлопаю на стол печенье, вафли, рассыпной чай, пару банок с консервами, пакетик соевых батончиков и мороженую треску – все, что мне удалось достать перед выходными. С продуктами тогда было плохо.

– Есть будешь? – спрашиваю я.

Она отказывается:

– Нет, дочура. Совсем нет аппетита. Пью только молоко.

Меня заливают жаром. Точнее, обдаёт кипятком. Ошпаривает всю – с пяток до корней волос – от слова «дочура». Его я слышу, по-моему, впервые. Впервые в жизни! Впервые за свои двадцать с небольшим лет.

«Дочура»... Я не могу двинуться, не могу обернуться, посмотреть на нее.

Я застыла, как жена Лота. Окаменела.

Баба Маня звала меня «доча». Но это было совсем другое.

Дочернее чувство – броситься к ней, обнять ее и пожалеть, слиться с ней телом, почувствовать ее худые плечи, тонкие руки, услышать ее запах – всего этого у меня не было. Не промелькнуло даже секундой, мгновением – нет.

А что было? Да ничего! Оторопь моя через пару минут прошла, я «расколдовалась», отмерла, кровь отступила от моего лица и я... Вернулась к себе.

– А чего одно молоко хлестать? – грубо бросила я. – Поешь вот... – я задумалась. – Рыбу, хочешь, сварю?

Мотает головой:

- Нет, Лидка. Не лезет. Вот чаю, может быть?.. Только нету его. Кончился чай.

Я громко вздыхаю, ставлю чайник и завариваю крепкий чай. Чай плохой, пахнет прелой соломой, а цвета густого, темно-коричневого, словно обещает терпкий вкус. Но он и на вкус трава травой. Эх, достать бы индийского, «Три слона»! Вот это чай, а не мура какая-то...

На блюде кладу лимон, нарезанный дольками, вафли, печенье.

Полина, заметив мои приготовления, оживает и присаживается. Вижу, что дается ей это с трудом. Но помочь не спешу. Делаю вид, что не замечаю.

Наконец, усаживается и отхлебывает из чашки.

- Ох, как вкусно, Лидок! Сто лет не пила!..

- Печенье ешь, - строго говорю я.

Она пугается и поспешно кивает. Хватает печеньку и размачивает ее в кружке. Печенька распадается и тонет в стакане.

Полина пытается выловить ее и с опаской поглядывает в мою сторону.

Я молча протягиваю чайную ложку.

После чая я вывожу ее на улицу - точнее, почти выношу. Она болтается на моей спине, обхватив шею руками.

Несу ее как полупустой мешок.

Усаживаю на стул под рябиной.

Рябину баба Маня хотела спилить - у нее, женщины деревенской, пережившей и голод, и холод, отношение к природе было потребительское: расти должно только то, что приносит пользу. От чего есть толк. Что можно съесть или использовать.

Рябинка росла вместе со мной. Из ее зеленых ягод я варила кукольные супы. Из красных и спелых я мечтала сварить варенье. Баба Маня не давала: вот еще! Сахар переводить на это говно!

- А вдруг будет вкусно? - канючила я. - Вдруг не горько будет?

Ну и достала я ее, и баба моя в сердцах плюнула:

- Ну и вари, дура упрямая!

И швырнула мне пакетик с сахаром.

Сахара там было с полкило. А сколько нужно ягод? Я не знала. А вдруг сделаю что-то не так и варенье испорчу? А если нет - докажу бабе, кто упрямый баран, а кто нет!

И побежала я к соседке, бабе Паше. Спросить, сколько класть сахара в варенье.

Баба Паша, полуглухая и полуслепая, ни черта не поняла:

- Да сыпь весь, Лидка! - сказала она. - Чем слаще, тем вкуснее будет!

Ну и бросила я ягоды в кастрюльку, бухнула туда сахар и налила воды - так всегда делала бабушка.

Баба Маня в процесс не вмешивалась - даже не подошла.

Закипело мое варенье, помешала я его, сняла пену - так тоже делала баба - и, подув на ложку, осторожно лизнула.

Какая же это была горечь! Просто непереносимая, отвратительная и мерзкая горечь! Отрава!

Я увидела в окно, что баба возится в огороде. Быстро вылила «варенье» в туалет за домом и, бросив кастрюлю в крапиву у забора, побежала на улицу.

Вечером сели пить чай. Баба Маня – ни слова.

Пошарила в буфете, поохала, вытащила старые сухари и обернулась на меня:

– Ой, доча! А где же варенье? Ну, давай на стол! На сухари покладем и все веселее!

Глаза хитрые и веселые, что редко бывало.

– А нету его, – беспечно отвечаю я и отвожу глаза.

– Невкусно получилось? – притворно охает баба.

– Вкусно, – пожимаю я плечами, – только я его... – тут я задумываюсь – Мишке Котенкову снесла! На угощенье!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/mariya-metlickaya/milen-kiy-ty-moy>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)